



НОВАЯ ПОЛЬША 2/2010

Содержание

1. ТЕАТР В ТЮРЬМЕ
2. ГАМЛЕТИЗМ
3. В ПОЛЬСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ
4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И ОПЫТА ПОЛЬСКОГО РАБОЧЕГО В СССР
5. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
6. ПИСЬМО ЛЕНИНА?
7. ФИЛОСОФОВ И ЧАПСКИЕ
8. СТИХИ
9. ЮЗЕФ ЛОБОДОВСКИЙ — ПЕРЕВОДЧИК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
10. ШОФЁР С АТТЕСТАТОМ ЗРЕЛОСТИ
11. ГОРОД ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
12. КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
13. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
14. МЫ УЧИЛИСЬ СОЦИОЛОГИИ В ПОЛЬШЕ

ТЕАТР В ТЮРЬМЕ

Архипелаг «Интурист»

Время верифицировало все свидетельства того времени из СССР, разделив авторов на наблюдательных и наивных, правдивых и лгунов. Сегодня мы знаем уже больше, чем эти авторы. Но вместе с тем, в определенном смысле, знаем меньше. И при чтении данных текстов предстает два слоя: бытовая, политическая и хозяйственная хроника и психологический портрет самого автора. Открывается и нечто третье — тоталитарный Режиссер, разрабатывающий мизансцены и стремящийся невидимо направлять перо репортера.

Публикации, о которых пойдет речь, тематически подразделяются на три группы: «туристическую» литературу, воспоминания людей, работавших в СССР, и тюремные хроники. Суммарно книг об СССР в межвоенной Польше опубликовано добрых полсотни. Воспоминания и репортажи, подписанные иногда известными, а иногда совершенно неизвестными именами, объединяет одно — стремление на основе собственных наблюдений найти ответ на вопрос: что происходит в новой России и что думают ее жители? Эти свидетельства, несомненно, были для своего времени важным источником информации. Понятно, что объективные сведения можно было отыскать в большом числе статистических данных и в выдающихся политологических работах, таких, например, как «Ленин как экономист» Станислава Свяневича или «На красном Олимпе» Станислава Сроковского. О повседневной жизни можно было узнать из широко переводившейся советской художественной литературы. Трудно переоценить значение богатой политической хроники в периодике, публицистике, а в особенности в специализированных журналах, таких «Пшеглэнд вспулчесный» («Современное обозрение»), «Пшеглэнд всходний» («Восточное обозрение») или «Ориент». Вместе с тем легко заметить особый спрос на информацию «из первых рук», пусть не слишком глубокую или фрагментарную, лишь бы она производила впечатление искренности. С этой точки зрения межвоенное двадцатилетие можно считать возрастом невинности репортажа — именно с учетом доверия, с которым читатель относился к наблюдениям, представленным от первого лица. Предпосылки

скрытого в этом наивном восприятии кризиса были еще неразличимы. Мало кто подозревал, насколько далеко может заходить лживость репортера-пропагандиста. Степень морального злоупотребления словом «я» в репортаже польский читатель сумел осознать, лишь испытав отечественный сталинизм.

Само количество названий польских довоенных изданий свидетельствует о подлинном «общественном договоре». Можно также говорить о многократно выраженном авторами (например, 5, 12, 13, 9) ^[1]

чувстве ответственности по отношению к западному миру, которому поляки, благодаря знанию языка и прошлого России, могут и должны представить объективный и глубокий образ СССР. Осознание этой миссии усиливается по мере нарастания пропагандистской лавины в просоветской публицистике Западной Европы. На этом фоне следует рассматривать отпор, который дали профессиональные (а особенно непрофессиональные) польские публицисты образу Отчизны Пролетариата, создаваемому ее властителями. Тем самым репортаж как свидетельство перерастал фактографические рамки, становясь звеном в истории преодоления техники тоталитарного социального манипулирования.

На первый взгляд очень схематичным может представиться «отчет о Советах» в «туристическом» варианте. Сравнить с ним можно разве что повести о гималайских экспедициях. Непременным описаниям организации каравана, забастовки носильщиков, обустройства промежуточных лагерей и штурма вершин здесь соответствуют неизбежные картины пограничных станций, портреты попутчиков, описания вокзала в Москве, гостиницы, ресторана, вида пешеходов, а затем спектакля в театре Всеволода Мейерхольда, колонии ГПУ для «беспризорных» детей в Болшеве, Третьяковской галереи, Красной площади, мумии Ленина, музея атеизма в Донском монастыре, загса, нарсуда, фабрики «Калибр», «диспансера» (амбулатории), Парка культуры и отдыха, «изолятора» (образцовой тюрьмы в Лефортове), рабочего клуба, «профилактория» (рабочего дома для «падших женщин»), магазина «Торгсина» и какого-либо из образцовых колхозов.

Названные выше, а также рассеянные по территории всего СССР точки (дворцы в Детском Селе под Ленинградом, Магнитогорск, совхоз «Гигант» на Кубани, крымский пионерский лагерь «Артек», Днепрострой, Печерская лавра) составляют своего рода архипелаг «Интурист». «Допускается

осматривать только то, что разрешено к осмотру советскими властями» (37), — предупреждают друг друга путешественники. «Вы увидите в СССР только то, что вам захотят показать» (35). Другими словами, это сценические площадки для зрелища под названием «жизнь в СССР». Так и пишет неизвестный автор («Автора, автора!» — как когда-то кричали в театре): посещение этой страны иностранцами планируется как спектакль. Збигнев Рашевский^[2] охарактеризовал бы его как «Вольную постановку в форме цикла номеров солиста в сопровождении самой малочисленной труппы», когда при смене номеров «возникает неидентичность того, кто вызывает наше удивление, с тем, что вызывает это удивление». Разумеется, удивление будет вызывать не Алексей Стаханов как личность, но его производительность. Во всей стране из этого правила только одно исключение — зритель познакомился бы с ним, имея счастье разговаривать с товарищем Сталиным.

Генезис этой театральности, внедренной в жизнь через отделы политической полиции в виде акционерного общества (!) «Интурист» и ВОКСа (Всесоюзного общества культурных связей с заграницей) восходит к шедевр провокации, которым была организованная ГПУ в декабре 1925 года «нелегальная экспедиция» эмигрантского публициста Василия Шульгина. Передаваемый из рук в руки якобы конспиративными монархическими центрами, Шульгин посетил в течение двух месяцев Ленинград, Киев и Москву, после чего описал это в книге, которую в своей безграничной наивности еще до публикации передал «конспираторам» для цензуры. Выход в свет «Трех столиц» завершил его карьеру публициста и подорвал монархическое движение в эмиграции.

Удачный эксперимент подсказал отбросить в отношениях между «антрепренерами» и «зрительным залом» принцип открытости, а строить их на основе посвящения. Панайту Истрати, направляющемуся в СССР, посол Раковский сказал: «Если будешь смотреть только поверхностно, тебе не понравится. Но если сумеешь смотреть и видеть, то, конечно, полюбишь нашу Революцию. (...) Я бы хотел, — комментирует Истрати, — чтобы он сказал честно, как обстоят дела; но что поделаешь — эти большевики всегда молчат как могила, даже если они ваши друзья и товарищи» (12). Вступление на святую землю СССР должно иметь в себе что-то от мистерии...

Принцип постепенного посвящения, идущий от разведки, лег в основу организации экскурсионных маршрутов для туристов «немых» (не владеющих русским языком),

специализированных туристов (техников, педагогов, литераторов) и особенно трудных, к которым, как правило, относили «общественность» из Польши^[3].

И все же, если исключить некоторые публикации явно агентурного происхождения^[4], поляки избежали той святой простоты, которой отличились Бернард Шоу, или прославивший Беломорканал Ромен Роллан, или Андре Мальро, или даже наиболее критичный в этом ряду Андре Жид. Книга последнего (10), считающаяся документом интеллектуальной независимости, взрывается фейерверками невольного комизма в описаниях «искрящейся радостью молодежи в Парке культуры», «исполненных советской радостью людей» на улицах или даже злобной глупостью, когда почтенный автор описывает, например, отвратительный вид попа, встреченного на дороге в Петергоф, или умиляется «сладости голоса» чекиста.

Свой вклад в виде, так сказать, наивности высшего сорта внесли те польские авторы, которые в принципе не допускали существования «двойного дна» в советской действительности. Примером может быть автор, роман которого подсказал название нашего очерка. Посмотрев в театре имени Вахтангова знаменитого «скандального» «Гамлета» в режиссуре Николая Акимова, Антоний Слонимский старался, как он пишет, убедить в достоинствах постановки тов. Аркадьева, главу департамента искусства в наркомате просвещения. Ему и в голову не пришло, что спектакль уже осужден наверху и ни одному официальному лицу нельзя даже в частной беседе отозваться о нем с какой-либо похвалой (38). Более суровое приключение досталось Александру Янте-Полчинскому, который во время второго путешествия по СССР «вырвался» из Магнитогорска, чтобы самостоятельно посетить азиатские республики (15). Под конец путешествия, не допущенный ни на Тракторострой в Харькове, ни на Днепрострой, он предается грустным раздумьям на берегу Днепра: откуда это неожиданное недоверие и почему все ему советуют как можно быстрее пересечь границу? И при этом абсолютно не отдает себе отчета в том, что ясно каждому читателю: что во время его эскапады за ним следило недремлющее око славного тов. Петерса, тогдашнего шефа восточного отдела ГПУ: один раз это был военный летчик, который его подвозил, в другой раз офицер ГПУ «в отпуске» (!), а еще юная красавица, к которой никто не решался подойти, представившаяся полькой по имени Мирра (!), — ее автор даже облобызал на каком-то из бухарских минаретов. Он даже не понимает, что дважды люди, которые с ним разговаривали, были арестованы, причем во втором

случае, на вокзале в Баку, буквально на его глазах^[5].
Невероятно, но факт.

Тайной, надежно скрываемой от Александра Янты-Полчинского, был голод. Чекистское чувство юмора его опекунов подсказало им прокомментировать сцену, когда нищие набрасываются на раздаваемые пайки, уточнением: «Голодные? Да нет — обжоры». Увидев между рельсами умирающего от голода, Янта слышит: «Устал». Даже этот стиль не пробудил чутье польского путешественника: подобные вещи в тогдашней европейской ментальности попросту не уместались. Показательно также отношение приезжающих из Польши к местам, где архипелаг «Интурист» пересекался с архипелагом ГУЛАГ: вокзальным и портовым постам ГПУ. Польские туристы со святой простотой думают, что это агентства бюро путешествий для привилегированных и заявляют о своих правах (25; 42). Интересно, однако, что, кажется, ни один из авторов довоенных польских репортажей не отправился во время войны по маршрутам второго архипелага: приобретенный в турпоездках опыт подсказывал держаться как можно дальше от границ СССР.

В столкновении с советской действительностью значительно наблюдательнее профессиональных литераторов оказывались любители. Это касается, прежде всего, более чуткого понимания искусственности, театральности ситуации. Обычный коммерсант Стефан Коморницкий пишет: «Несмотря на некую экстерриториальную свободу и гостеприимство „Интуриста“, мы начинаем ощущать что-то из этого насилия или давления — я бы сказал, общий знаменатель, объединяющий здесь всех и всё. Трудно понять, из чего рождается это ощущение: из того ли, что мы отличаемся и привлекаем очевидное внимание чуждым видом, или из вездесущих транспарантов с лозунгами, которых невозможно не читать, или из портретов и памятников революционным знаменитостям, которых нельзя не заметить, или, наконец, из присутствия пусть не слишком навязчивых и хорошо воспитанных, но неизбежных провожатых; а еще Бог весть откуда возникающие в коридорах персонажи и постоянный контроль над нашими денежными тратами» (18). Перчаточник из Кельце по фамилии Влочковский, оказывается, и собственной кожей многое чувствует:

«Я знаю Красную площадь больше 35 лет, но когда оказался на ней вечером, то удивился. Подменили ее что ли? Скрытые где-то на домах прожекторы светят так, что, наверное, иголку можно найти, а посередине площади, ближе к кремлевской

стене в пересечении лучей двух специальных прожекторов фантастически вырисовываются контуры мавзолея, от которого тянется постоянно движущаяся живая змея. Это очередь посещающих Ленина» (46). В одном из кремлевских соборов, «хотя было двадцать градусов мороза, я оставался с непокрытой головой назло некоему гражданину, который от ворот Кремля постоянно за нами следовал, делая вид, что он не с нами, проходил мимо, возвращался, останавливался, а в соборе оказался возле меня, сверля глазами (...) А при посещении кремлевского музея, будь то в залах с царским платьем, или возле прекрасных позолоченных карет, или в залах с оружием, этот гражданин в войлочных ботинках, ступающий тихо, как кошка, сопровождал меня повсюду, так что в конце концов я привык к его присутствию. Я очень рад, что мы больше не встретились, хотя, признаюсь, что я еще несколько дней вспоминал об этом, но позже забыл» (46). Профессиональным литераторам искусственность атмосферы и такого рода сопровождение как-то не мешали.

Безусловно, в этом сказалась и тогдашняя политкорректность, яркое выражение которой можно найти в последних фразах книги Слонимского: «Поздно вечером я в Варшаве. (...) Носильщик тащит мой чемодан, и, когда мы оказываемся на площади в ожидании такси, завязывается разговор. У меня неизъяснимое желание сказать ему, что я вернулся из России.

— Ну и как там?

В этом тихом, деликатном вопросе я слышу доверие, то особое доверие, которое проявляют пролетарии к товарищам по партии. Признаюсь, эта атмосфера общности нравится мне, я хочу сказать ему что-то, что нас бы еще больше сблизило, а в его усталых глазах читаю ответ, которого он от меня ждет. Я знаю, что если бы ответил: „Там хорошо, товарищ“, — то он понес бы мой багаж к такси легко и быстро и улыбнулся бы на прощание. Но я говорю:

— Трудно сказать в двух словах. И плохо, и хорошо.

Сейчас я знаю, что думает обо мне носильщик. Он думает обо мне как о враге. У него нет середины. Кто не с нами, тот против нас. С чувством гнетущего одиночества я еду через город» (38).

Нельзя разрушать надежду пролетариата. Именно поэтому свою потрясающую повесть о семилетнем заключении на Соловецких островах виленский актер Франтишек Олехнович должен был издать за собственный счет, а сенсационные воспоминания социалиста Станислава Лаконского в последний

момент были снабжены предисловием (без пагинации) Станислава Тугутта, который счел необходимым уточнить: «Автор не является завзятым противником Советов, хотя и вынес оттуда много горьких впечатлений. Он стремится к той же цели — освобождению труда, его возмущают только методы» (27).

Шоковая терапия

Чрезвычайно поучительным был бы сопоставительный анализ каждой из «сцен», в которых взаимодействует приезжая «общественность» с играющими свои роли «актерами». Несколько десятков обширных описаний Негорелого, первой железнодорожной станции на советской стороне границы, дает возможность реконструировать этот объект, который было запрещено фотографировать. В здании не было ничего случайного. Нарочито временного вида деревянный барак (ибо «коммунизм сотрет все границы», как гласит надпись на водруженной над рельсами «арке Домбаля»^[6]), неизбежная и безумно высокая (75 грошей) дань носильщику, вызывающе высокомерное и сухое обращение таможенников, дотошность досмотра, кумач пропагандистских лозунгов, разлив красного по огромной карте и, наконец, убогий буфет с грубым черным хлебом и заветренной селедкой должны были сразу создать вокруг прибывших двусмысленную атмосферу угрозы. Россия была тогда единственной страной в мире, где на границе при всех рылись в дамском белье, методично перелистывали книги, переписывали драгоценности и заставляли путешественников менять валюту по грабительскому курсу^[7]. Не случайно один из авторов называет этот ключевой момент «пограничной мистерией» (22). Другой же — «поднятием занавеса» и, хотя входит в официальную делегацию, признаётся в чувстве адского страха (44).

Театральность путешествия-спектакля подчеркивается ярмарочной генеалогией: прообразом становятся различные «пещеры ужасов» или «замки Синей Бороды» в луна-парках, а сегодня — в Диснейленде. Исторический психоанализ в духе Александра Вата, возможно, прояснил бы, откуда черпали примеры создатели «Интуриста». Нетрудно прийти к выводу, что осознанной отправной точкой для них был затаенный в душе даже самых благодушных приезжих страх перед «подвалами чрезвычайки». Создание фиктивной реальности (трудное дело, поскольку всего не укроешь) опиралось на принцип взаимоисключающих контрастов. Это придавало как негативным стереотипам, так и всей атмосфере гнета характер

нереальности переживания и требовало вторичной рационализации.

Контакт с символическим насилием, начинающийся с оформления документов, продолжался на протяжении всего спектакля. Выходя из гостиницы — и не какой-то там, а московского «Метрополя», — зритель оказывался перед картиной, «изображавшей красноармейца, давящего мощным каблуком капиталистов с обезьяньими физиономиями» (35). Вернувшись вечером, усталый, обнаруживал перерывные чемоданы (45) или следы установки микрофона за калорифером (22). Режиссура спектакля считалась с необходимостью периодически прибегать к шоку в стиле удара дубинкой, как рекомендуют своим адептам корифеи дзен-буддизма. Именно так можно интерпретировать сообщение одного еврейского журналиста, понимающего, что он является объектом индуцирования мании преследования и утешающегося максимой Фуше о более жутком, чем сам террор, страхе перед террором. Автора удивляет, что у пяти англичан вызвала омерзение табличка над гробом св. Владимира в Печерской лавре: «В этом гробу найден деготь под одеждой, пара деревянных ног и искусственный волос в бороде» (43), — это было больше, чем они могли вынести. Но вскоре и сам он испытал шок, когда в антирелигиозном музее в Москве увидел варварски приколотые к стене свитки Торы...

Ментальной обработке зрителей путешествия-спектакля, наряду с прямым индоктринированием, служило по возможности полное распоряжение их временем и стеснение свободы, а также уловки, чтобы турист «смотрел и не видел». Характеристика таких процедур потребовала бы терминологии, используемой при описании психозов. Необходимо помнить, что этот спектакль не признавался, что он спектакль, этот театр притворялся не театром. Не случайно Янта-Полчинский взывал: «Насколько достойнее была бы ваша позиция, если бы вы захотели поднять забрало, насколько проще бы стало наше отношение к вам. (...) Если бы не пропаганда, каждый принял бы Россию такой, как она есть, плохой или хорошей, но исполненной доброй воли» (14). Но именно это было недопустимо. Поэтому многочисленные свидетельства представляют и факты, и всю атмосферу как нечто совершенно ирреальное, и эта атмосфера родственна «психотической ауре». В самых разных, даже не лишенных оптимистических ожиданий текстах повторяется фраза: «Я вышел больным». Таким потрясением для польского инспектора охраны труда может быть посещение шлифовального цеха, где темно от пыли, и это объясняют тем, что в СССР не производят

армированных вентиляционных шлангов. А следующая экскурсия — как раз на завод таких шлангов (31). Работающий в России польский инженер с ужасом сообщает, что еврейская комсомольская молодежь конфискует в еврейских домах свитки Торы как утильсырье («utilsyrjo»), а пергамент передает еврейскому же сапожному кооперативу на подошвы; новое поколение, пишет этот автор, «даст совершенно новых людей. Это будут какие-то марсиане из романа Уэллса, спустившиеся на Землю» (5).

Всё более выразительной предстает принципиальная невозможность передать дух тоталитарной действительности. Авторы не в состоянии понять, в чем состоит царящая вокруг поэтика фictions. Корреспондент «Газеты польской» использует для этого образ колпака, из-под которого откачан воздух (4). Драматургия коллективной лжи требует метафоры: «Улица кричит красной глоткой транспарантов, красный бич гуннов взвивается над оглушенной, ослепленной толпой (...), красная узда ощущается постоянно, не оставляя свободы мысли и поступка» (22). Над попытками анализа преобладает удивление: «Присмотревшись к действительности, можно убедиться, что мозг советского гражданина — это граммофонная пластинка. (...) У меня создалось впечатление, что в разговорах с иностранцами действует единая для всех инструкция: одни и те же, одинаково сформулированные, предложения я слышал от рабочих, инженеров, врачей, женщин и детей» (46), что автор заключает выводом: «Зная прежнюю Россию и ее народ, я удивлялся, куда подевалась та прежняя открытость и пресловутая „широкая натура“». Есть более глубокие наблюдения, связанные с моральными критериями: «Что в СССР поражает больше Магнитогорска и безграничного бескультурья комсомольцев в Парке культуры в Москве, — это умение довести миллионы людей до того, чтобы они бестрепетно кричали „Да здравствует ГПУ, верный страж революции!“ В античном Риме на арене Колизея гладиаторы возглашали: „Ave Caesar, morituri te salutant!“ Не знаю, делается это по принуждению или для собственного удовольствия. Что касается царской власти, то хотя средний поляк даже в микроскоп не усмотрит в ней что-то для себя симпатичное, но все же до революции я нигде не видел в той же России плакатов и не слышал хоральных распевов толпы в честь полиции и Черной Сотни: „Да здравствует жандармерия и полиция, верные стражи самодержавия!“ Скромность после войны вышла из моды» (5). Наблюдатели отмечают, какое большое усилие требуется, чтобы постичь сущность происходящего и даже просто решиться объективно представить увиденное.

Здесь должен быть упомянут автор, который, владей он получше стилем, заслуживал бы имя польского Оруэлла. В столкновении с «как бы жизнью» он демонстрирует поразительные сегодня для нас интеллектуальные горизонты рядового, как представляется, члена ППС. Станислав Лакомский в идеалистическом порыве (хотя уже далеко не юноша) пробрался лесами через границу в Минск. Выйдя из тюрьмы, он несколько лет в разных городах налаживал ткацкие машины, встречаясь с рабочим классом как дореволюционного, так и нового закала. Его книга — это лучшая из когда-либо изданных в Польше экономическая история СССР 1927–1935 гг., от последних недель НЭПа до начала большого террора. Это история в ситуациях, включающая как статистические выкладки (на основе собственных наблюдений), так и анекдоты, но прежде всего — это взгляд изнутри, с позиции участника. И в этом качестве ее можно сравнить разве что со свидетельством Симоны Вейль о заводе «Рено».

Лакомский добросовестно описывает футуристическую архитектуру строенных в 1925–1927 гг. рабочих общежитий, где зажатые между двумя коморками выдвижные ящики заменяли буфет, а двери открывались «как в трамвае». Он добавляет отзывы женщин, которые носят платья из тканей, украшенных локомотивами, доменными печами и тракторами. Описывает уничтожение крестов и кладбищенских оград из-за отсутствия чугуна и латуни. Объясняет, почему сыпной тиф называют «болезнью №2». Анализирует карточную систему и ее запутанность, ударничество и связанные с ним конфликты, паспортизацию и вызванные ею массовые самоубийства. У него можно найти описание собраний, столовых, процедуры развода, агитации за выращивание шампиньонов для замены мяса, технологию воровства в коопторге, функционирование концессионных фабрик, «добровольную» покупку противогазов, без которых не допускали к работе, крыши фабрик из столешниц письменных столов и сапожную эрзац-кожу «Монолит». А также, естественно, пишет о более серьезных делах и мало-помалу создает довольно полную картину системы принуждения.

Когда возникает вопрос о социальной цене «святого эксперимента», свидетелем которого он стал, Лакомский не сомневается, что это в сущности массовое истребление. В «диктатуре пролетариата» этот социалист усматривает преступление против человечества. «Ведь жертвы были колоссальны, и если поверить рассказам возвращавшихся из так называемых „командировок“ и сравнить с тем, что я сам видел, — этого довольно, чтобы радикально пересмотреть все

свои убеждения. И где бы я ни был, узнавал: там массово умирают на торфоразработках, а здесь гибнут или бегут в Финляндию с северного лесоповала, столько-то тысяч работают, голодая, на строительстве железной дороги Иркутск — Хабаровск. А Соловки, Кемь, Туруханск? И узнает ли когда-нибудь человечество и знают ли сами русские, какова цена этой их высокой идеи?» (27) ^[8]

Игровая ситуация, в которой тебе отводится роль зрителя, спектакль, в котором невольные участники гибнут в попытках постичь его смысл... Этот мотив пронизывает большинство репортажей. За всем, что явно происходит и чему заставляют верить, скрыт другой смысл, до которого можно дойти только своим умом. Зрители путешествия-спектакля блуждают в сомнениях.

Но одно представляется определенным. Скрытый смысл скрывается потому, что носит глубоко иррациональный характер. Маскировка этого иррационализма — проекция шизофренического режима. Возможно, очень близок к сути Янта-Полчинский, когда взрывается: «Здесь всегда и во всем виноваты обстоятельства, изредка люди, никогда — система, у которой есть высшие соображения. Приезжему говорится, что нельзя составить впечатление о России, если не стараться понять эти высшие, неуловимые, иррациональные соображения, в соответствии с которыми на железной дороге и строительстве Магнитогорска царит хаос, по людям ползают вши, за полгода нельзя починить в доме электропроводку, а новые бетонные стены отсырели и лопаются, и так далее на каждом шагу. На случай серьезной ошибки в резерве держится главный аргумент, он же и пропагандистский козырь: „Вредительство“. (...) Я бы не стал этого особо подчеркивать (...) если бы не тот факт, что иностранца, намеренно или неумышленно, на каждом шагу стараются ввести в заблуждение, объяснить ему условия, в которых осуществляется эта работа, столь наивно, иногда столь далекими от бьющей в глаза действительности причинами и часто вопреки очевидному, или так интерпретировать факты, что исчезает сама возможность разумного разговора. (...) Здесь нет места для средних достижений, они должны быть сразу самыми высокими, максимальными, программно бьющими все рекорды. Они преисполнены манией величия, от которой не откажутся и не пробудятся, пока не победят или не обанкротятся» (15). Суть всего этого сухо формулирует Станислав Лакомский: «Надо открыто признать, что советские власти научили народ терпеть и молчать, как, возможно, никакая другая власть» (27).

В пустом храме

Опасный иногда для умственного здоровья, спектакль посещения Страны Советов был вариантом театра жестокости. Для захваченных магией этого театра спектакль — уже единственная реальность. Зритель становится участником, автором и творцом. Становится кем-то другим. Именно это имели в виду опекуны посещающих СССР иностранцев, говоря, что, чтобы понять советскую действительность, надо самому измениться. Встать «по ту сторону» рампы, по ту сторону морали, более того — по ту сторону рассудка, если это возможно.

Этого не так легко достичь. Сообщения многих посетивших СССР в межвоенный период нередко показывают именно момент истины или скорее ее ощущение, когда истинный облик формируемого там экспериментального общества, кажется, вот-вот ухватишь. Сегодня, по завершении этого эксперимента, особо ценным кажется то, что, видимо, угадывалось интуитивно: что погоня за тайной этой страны напрасна, что поиск правды о ней только сбивает с пути, что любое посвящение может быть только фальшивым. Говоря короче, что секрет цивилизации коммунизма — это внутренняя пустота, а его цель — мираж.

Такое предчувствие посетило Александра Янту в превращенном в музей атеизма Исаакиевском соборе. Он увидел там символ, которого не понял, но который сегодня более чем когда-либо читается как символ ложного посвящения: «На своде купола, на высоте 112 м, подвешен маятник Фуко. Со свистом рассекает он полутемное пространство, проходя острием над каменной площадкой, на которой нанесены письмена. Он словно бьющееся сердце пустого собора, которое в какой-то мере возвращает ему смысл. Возвращает вырванную из мраморных стен жизнь» (14).

Печатается в сокращении.

*

* *

Список литературы на польском языке

1. Beraud H. Co widziałem w Moskwie. Przel. J.H. Poznan, 1926.

2. Berson Otmar J. Nowa Rosja. Na przełomie dwóch piatiletok. Z przedm. J.Matuszewskiego. Warszawa, s.a. [1933].
3. Berson Otmar J. Minus Moskwa. Warszawa, 1935.
4. Berson Otmar J. Kreml na bialo. Warszawa, 1936.
5. Bleszynski T. Wiecej prawdy o Sowietach. Warszawa, 1933.
6. Bon A. Co widzialem w ZSRR? Warszawa 1927.
7. Brunowski W. (Wladimir Christoforowicz). A dzialo sie to w Sowietach... Pamietnik skazanego na smierc. Przekl. T.Teslar. Warszawa, 1929.
8. Douillet J. Moskwa bez maski. Przekl. St. Studnickiej. Warszawa, 1930.
9. Drobner B. Co widzialem w Rosji Sowieckiej? Odczyt wygloszony dnia 26 stycznia w Krakowie, w sali Starego Teatru. Krakow, 1936 (тираж конфискован).
10. Gide A. Powrot z ZSRR. Przel. J. E. Skiwski. Warszawa, 1937.
11. Halle F. (Fanny). Kobieta w Rosji Sowieckiej. Przel. M.Balsingerowa. Warszawa, 1934.
12. Istrati P. Zagiew i zgliszcza. Po szesnastu miesiacach pobytu w ZSRR. Przel. K.Rychlowski. Lwow-Warszawa, 1931.
13. Iwasiewicz J. Bezdroza Rosji Sowieckiej. Warszawa, 1935.
14. Janta-Polczynski A. Patrze na Moskwe. Poznan, 1933.
15. Janta -Polczynski A. W glab ZSRR. Warszawa, 1933.
16. Kisch E.E. Oblicze Azji Sowieckiej. Przel. W.Rogowicz. Warszawa, 1935.
17. Knickerbocker H.R. Czerwony handel. Plan piecioletni uprzemyslowienia Rosji Sowieckiej (на обл.: Czerwony handel grozi). Przel. Z.Szymanowski. Warszawa, 1932.
18. Komornicki S. S. Dziennik podrozy do Moskwy. Krakow, 1934.
19. Korab-Kucharski H. RSFSR. Wrazenia z podrozy naokolo Rosji Sowieckiej. Warszawa, s.a. [1923].
20. Korber L. v. W sowieckich wiezieniach. Przel. Z.Wolper. Warszawa, 1935.

21. Kragen W. Dymy nad Azja. Warszawa, 1934.
22. Lech W. (Przedpelski Włodzimierz). Za czerwona kurtyna. Wrazenia z podrozy do Rosji Sowieckiej. Warszawa, 1932.
23. Legay K. Gornik francuski u Rosjan. Przel. S.Moszczynski. Paryz, 1938.
24. Lepecki M. B. Sybir bez przeklenstw. Podroz do miejsc zeslania Marszalka Pilsudskiego. Warszawa, 1936.
25. Lepecki M. B. Sowiecki Kaukaz. Podroz do Gruzji, Armenii i Azerbejdzanu. Warszawa, 1935.
26. Litynska H. Za tundra jest zycie. Warszawa, 1939.
27. Lakomski S. Z przezyc i doswiadczen robotnika polskiego w ZSRR. Z przedm. S.Thugutta. Krakow, 1937.
28. Mackiewicz S. Mysl w obcegach. Studia nad psychologia spoleczenstwa Sowietow. Wilno, s.a. [1931, 1932, 1935].
29. Mehnert K. Mlodziez w Rosji Sowieckiej. Przel. H.Weissowa. Warszawa, 1933.
30. Mehnert K. Moralnosc i kultura w Rosji Sow. Przel. H.Weissowa. Warszawa, 1934.
31. Miedzinska J. Sowieckie panstwo pracy. Wrazenia z podrozy inspektora pracy. Warszawa, 1935.
32. Milik F. (Franz). Obrzydlo nam zycie w Rosji... Zwierzenia austriackich robotnikow-zbiegow z Rosji. Przel. M.T.Hoszowski. Krakow, 1937.
33. Nowakowski Z. W pogoni za forma. Lwow, 1934.
34. Olechnowicz F. (Aljachnowicz Franciszak). Prawda o Sowietach. (Wrazenia z 7-letniego pobytu w wiezieniach sowieckich r. 1927-1933). Warszawa, 1937.
35. Oudard G. (Georges). Powaby Rosji Sowieckiej. Przel. A.Sozanska. Poznan, 1935.
36. Rundt A. (Arthur). Sowiety tworza nowego czlowieka. Wrazenia z podrozy po Rosji Sowieckiej. Przel. M.F.Sieniawski. Warszawa, 1932.
37. Sarolea Ch. Wrazenia z Rosji Sowieckiej. Przel. Z. de Bondy. Cz? stochowa, 1925.

38. Slonimski A. Moja podroz do Rosji. Warszawa, 1932.
 39. Soloniewicz I. Rosja w obozie koncentracyjnym. Ze wst. S.Grabskiego. Przel. S.Debicki. Lwow, 1938.
 40. Spasowski W. ZSRR. Rozbudowa nowego ustroju. Warszawa, 1936.
 41. Stepol S. (Starzyzski Stefan). Jak jest naprawde dzisiaj w Rosji? Warszawa, 1924.
 42. Suryc M. W kraju «Piatiletki». Warszawa, 1932.
 43. Szoszkies H. (Chaim). Rosja Sowiecka w 1936 r. Warszawa, 1937.
 44. Wajnryb M. W kalejdoskopie sowieckim. Listy i wrazenia moskiewskie. Warszawa, 1929.
 45. Wankowicz M. Opierzona rewolucja. Warszawa, 1934.
 46. Wloczkowski L. Miesi?c w Sowietach. Z przedm. G.Axentowicza, dyrektora Izby Rzemieslniczej w Kielcach. Radom, 1934.
-
1. В скобках приводятся ссылки (с указанием страниц) на приведенный в конце статьи список литературы.
 2. Z.Raszewski. Teatr w swiecie widowisk. Warszawa, 1991.
 3. Классификация проводилась на основе визовой анкеты, включавшей, в частности, следующие пункты: политические убеждения, партийная принадлежность, воинская часть, в которой сражался против России, чем когда-то занимался в России и что собирается делать сейчас (43). Анкета «просвечивает душу, — наивно пишет еврейский журналист Хаим Шошкес. — Я становлюсь светоборцем». Заявления «сомнительных» лиц отклонялись без объяснений; например, Станислав Мацкевич-Цат хлопотал о визе два года. Следующим ситом были цены: только билет на тридцатикилометровой трассе Столбцы — Негорелое стоил 40 злотых, в два раза дороже, чем от Варшавы до Столбцов (22), а цена дня пребывания по прейскуранту «Интуриста» — 9,3 зл. (эквивалент 5 долларов в золоте или пара обуви) (21). Можно добавить, что «интурист» был обязан носить на видном месте специальный знак (46).
 4. Например, брошюра Б.Дробнера с цензурными изъятиями, а затем конфискованная, в которой автор, между прочим, с одобрением приводит «остроты» Сталина — в частности такую: человека легко заменить, потому что его сделает

любой, а вот кто бы сумел сделать кобылу (9); а также брошюра Спасовского «СССР. Созидание нового строя» (40).

5. Аресты из-за контактов с иностранцами упоминаются во многих источниках.
6. В 1923 году там был произведен обмен политзаключенными, среди которых советской стороне был передан осужденный на шесть лет каторжной тюрьмы бывший депутат Томаш Домбаль.
7. Официальный курс рубля составлял в 1932–1934 гг. в среднем 4,64 зл. (21) при варшавском курсе 0,22 зл. (38). Естественно, существовал запрет на ввоз советских денег. Советский курс эффективно ограничивал самостоятельное передвижение туристов — извозчик в Москве брал за поездку 20–30 рублей.
8. Лакомский издал еще сборник беллетризованных очерков «Как родилась большевицкая Россия. Воспоминания польского рабочего» (Краков, 1938). В социалистическом «Напшуде» («Вперед») были анонсированы другие его работы с выразительными названиями: «Женщина и ребенок в первую и вторую пятилетку», «Крестьяне Столыпина в колхозах Сталина», «Крестьяне в совхозах», «Крестьяне и безбожие (борьба с религией)», «Царская охранка в казематах ГПУ», но они не увидели света.

ГАМЛЕТИЗМ

Долго смотрел я в тёмные глаза моего брата,
Знакомые глаза, а вот лицо — чужое.
Говоря, он каждое слово взвешивал, беспокоясь.
В Ленинграде, на грустной улице Марата.
Михал, сын дяди Людвика и тёти Фанни —
Ласковым вкусом детства те имена пьянят —
Сурово и серьёзно дискуссию закрывает он.
Двоюродный брат. Ближайшая мне по отцу родня.
Магнитогорск и Урал. С нами — или против.
Сталин и партия. Труд, невероятный, упорный.
План пятилетний. Когда-то мы, пятилетние коти,
Друг дружке письма писали. Михал — тощий и чёрный.
Ранним сединам блеск юных глаз не затмить.
Верный своей работе, спокойный, хоть страстный,
Ты служишь своей отчизне и хочешь верно служить.
Говоришь: «Доброй ночи, принц». — «Доброй ночи,
Горацио».

В ПОЛЬСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

(...) В польском посольстве у щедро заставленных столов толкотня, как в театральном буфете. Лучше всего пить с Леоновым. Я не о питье в буквальном смысле — пить не люблю, — а о том роде общения, который поддерживается алкоголем, о том желании вызвать к себе симпатию, которое наступает после пары рюмок. Леонов выглядит как молодой Джек Лондон. Изъездил всю Россию и с Западом знаком. О Европе говорит всё же с иронией:

— Мне нужно от вас две вещи: граммофон и лейка. И еще свисток. [...]

Среди писателей, собравшихся в посольстве, можно в одночасье опознать тех, кто был за границей. Они одеты обыкновенно. У них обычные рубашки и костюмы. Остальные напоминают настоящих поэтов древности. У них длинные волосы и слишком короткие брюки — то есть выглядят они, как Лехонь времен «Пикадора». Только барон Штейгер в смокинге, который, вероятно, остался у него еще с царских времен. Интересно, откуда видные коммунисты, прежние пролетарии, берут фраки и смокинги. Шьют ли эти фраки местные портные или их привозят от Генри Пула из Лондона?

В беседах с писателями мне было интересно больше всего, что русские коллеги знают о загранице. Уже после первого обмена мнениями понятно, что обе стороны оскорблены прессой. Единственная разница между нами, полагаю: что наша бульварная пресса бранит Россию, а они верят во всё, что напишут «Правда» или «Известия». (...) Сидя с парой писателей в уголке на диване, я видел, что свобода, с которой говорят о вранье нашей бульварной прессы, производит сильное впечатление. Мои русские коллеги смотрят на меня с недоверием и как бы с оттенком зависти. Мол, я позволяю себе ругать не только прессу, но и другие вещи, которые случаются в моей стране. Случаются ли? Это в здании посольства и в присутствии дипломатических представителей. Такое впечатление, что мои русские коллеги, если бы я их напоил и удрал с ними, набросились бы на Кремль с таким удовольствием, которое возникает при преодолении комплексов и разрядке скрытых сил. Право чернить свою страну, которое так красиво использовали Гоголь и Диккенс, Бернард Шоу и Вольтер, — это право, лишить которого

писателя было бы нездорово. Русские коллеги очень стеснительны в общении. После двух минут интимного разговора появляется с усмешкой эдакий сладкий чиновничек или чиновничиха и вставляет свои три копейки. Был один такой, следил, как бы кто из писателей в разговоре со мной не усомнился в марксизме. Встревал в разговор, ставил писателя вертикально, подпирал его марксистскими столбиками и отходил наблюдать, не выпадал ли иной поэт из классового сиденья. Эту слежку за исполнителями и писателями я знаю еще с Шопеновского конкурса в Варшаве. Молодых музыкантов окружала такая опека, что поговорить с иностранцем без чиновника было нельзя. Я говорю с Леоновым о писательских трудностях, о чувстве ответственности, о том, наконец, как легко быть писателем-коммунистом в России и нет ничего трудней, чем быть им в Европе.

— Понимаю, — говорит Леонов. — Быть коммунистом в Польше — это требует героизма. Это мученический путь. Знаю, что у вас писателям-коммунистам грозит заключение или смерть, но тем благородней эта опасная борьба.

— Сдается мне, у вас неполная информация, — отвечаю я. — Что касается писателей-коммунистов, они не страдают таким образом, как Вы думаете. Здесь в Москве вы можете встретить известного поэта-коммуниста, который выехал в Россию по легальному или даже обычному паспорту, несмотря на судебный иск. Некоторых наших коммунистических поэтов и писателей, имена которых окружены в России мученическим ореолом, я встречаю каждый день в варшавском кафе. (...)

Нашу беседу подслушивает иронически усмехающийся советский чиновник.

— Вы, однако, же признаете, — встревает он, — что коммунистические книги и журналы у вас конфискуют.

— Да. Но я не совсем понимаю ваше отношение к этому делу. Если вы считаете Польшу страной с диктатурой, в таком случае нужно утвердить методы, используемые по отношению к литературе и прессе, потому что это ваши методы. (...) Что касается свободы литературы и прессы, то я ее сторонник при любой системе, и чиновник, ограничивающий писателя, мой враг как у нас, так и в России.

— Забудь ты, — говорит серьезный Леонов, — у нас в России писатели согласны с таким положением вещей. Эта цензура, в общем, совместная работа, и писатель хочет соотносить свой

труд с потребностями государства. Нас ограничивает не враждебный чиновник, а партийный товарищ.

Из книги: *Моя поездка в Россию*. Варшава, 1932. С. 138–144.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И ОПЫТА ПОЛЬСКОГО РАБОЧЕГО В СССР

Первая пятилетка началась неслыханной в истории человечества агитацией. Ее размах знает только тот, кто работал тогда на советских заводах и фабриках. Все было подчинено пропаганде пятилетнего плана: от литературы, поэзии, театра, музыки, концертов и публичных развлечений — до строительства домов для рабочих и до тканей. Дошло до того, что на заводах распропагандированная молодежь стала отказываться от хорошей одежды и всяких модных танцев, называя всё это «привычками гнилого Запада», а часто и хороший обед считался буржуазной претензией. В городах создавались кружки «Синяя блуза» — в такие блузы одевались молодые люди обоих полов. Кроме того, молодежь стала создавать дома-коммуны, в них молодые люди жили и занимались учебой, особенно налегая на познание марксизма-ленинизма-сталинизма.

В результате образовалась огромная масса агитаторов и пропагандистов, которые затопили предприятия и все общественные и культурные центры, устраивая бесконечные собрания и дискуссии. Случалось, что на заводе нельзя было спокойно пообедать, так как всех тащили на собрания. И после работы не лучше: снова собрания, конференции, дискуссии до поздней ночи. Куда бы ни пошел, чем бы ни занялся, что бы ни читал — всегда тень пропаганды, словно привидение, была перед глазами. (...)

По новым проектам строили железобетонные дома для рабочих. Здесь были длинные, во всю длину дома, коридоры, квартиры без кухонь; полки, встроенные в стены и выдвигающиеся на обе стороны, заменяли комод; двери между комнатами открывались по типу трамвайных; общая умывальня, читальня, на несколько домов пекарня, столовка, магазин, школа, между домами и вокруг — скверы, аллеи, тротуары и асфальт. Вскоре всё же от строительства таких домов отказались.

Интереснее всего пятилетка запечатлелась на одежде: ткани были украшены рисунками доменных печей, комбайнов и тракторов. Платье, сшитое из такой ткани, являло забавный вид, а на женщину, одетую в него, с домной сзади и трактором

спереди, люди сбегали поглазеть; шутники упражнялись в сальных островах. Мода вскоре увяла. (...)

Наступил третий год пятилетки. Начали работать некоторые заводы-гиганты, страна менялась до неузнаваемости, производство росло из месяца в месяц, а жизненные условия ухудшались невероятным образом. Введение продовольственных карточек категории 1, 2 и 3, промышленных карточек с буквами А и Б, а также ударных и сверхударных привело в рабочей среде к хаосу и породило зависть — тем более что часто категория и ударная карточка давалась не за труд и заслуги, а, как говорили, «за трёп». По поводу распределения продовольствия часто возникали склоки среди рабочих, пошли доносы, а уже выданные карточки вызвали настоящую ненависть. За каплей молока случалось стоять в очереди по часу и больше, а тут подходит сверхударник и лезет в магазин без очереди; скандал часто заканчивается дракой, ударника колотят бидонами, об его голову разбиваются горшки. (...)

Последний год пятилетки мы завершали в невеселых условиях; надежды на будущее становились все призрачнее, и мало кто в него уже верил. Люди бежали из деревень и приносили всё более страшные известия: голод в целых губерниях, целые провинции вымирают. Рассказывали о невероятном, о людоедстве. Требование снизить себестоимость продукции становилось всё жестче, а снижение достигалось только за счет работника, который и так едва дышал под бременем труда и всякого рода государственных и общественных нагрузок. (...) Самым худшим было постоянное недоедание. Насколько вызвали гордость эти колоссальные стройки, парки, скверы и эта работа, работа без конца, настолько же, с другой стороны, это голодное и полуголодное существование вело к отчаянию, тем более что не все голодали. Были люди, не знавшие голода, кому изобильно снабжаемые магазины под названием «Красная звезда» предлагали всё дешево и помногу, причем такие товары, которые рабочим не снились, — и ярость охватывала от такой несправедливости.

Краков, 1937

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• “17 декабря 1989 г. Лешек Бальцерович, тогдашний министр финансов и вице-премьер в правительстве Тадеуша Мазовецкого, обнародовал 11 законопроектов, ставших основой последовательного плана экономических преобразований. План включал в себя приватизацию части государственных предприятий и их частичную реструктуризацию, спасение бюджета путем урезания дотаций на продовольствие, квартиры, угольную промышленность и т.д., подавление инфляции с помощью повышения процентных ставок, свободно конвертируемый злотый, реформу налоговой системы и введение индексации роста зарплат, а также налога на сверхнормативный рост зарплаты на государственных предприятиях, либерализацию внешней торговли и создание свободного рынка (...) По мнению Бальцеровича, в том плане не нашлось места для элементов социальной политики”.

(Александра Фандереевская, Эльжбета Глапьяк, «Жечпосполита», 18 дек.)

• “Ровно 20 лет назад мы ждали сигнала, который должен был известить о начале погони за нормальным миром. Лешек Бальцерович представил свой план, т.е. несколько принципов, которые по тем временам были революционными, хотя сегодня кажутся совершенно нормальными (...) Любопытно, что он ввел тайный капитализм, который назывался «социальной рыночной экономикой» — с торжественным ударением на слово «социальная» (...) Накануне введения капитализма и даже в первые его годы наши лидеры ни разу не отважились употребить слово «капитализм» (...) Так что 20 лет назад мы входили в нормальный мир под аккомпанемент уверений, что бояться нечего, что он будет вовсе не такой уж нормальный, что он всё-таки слегка останется нашим знакомым — социалистически-параноидальным”. (Яцек Федорович, «Газета выбора», 23 дек.)

• Стефан Кавалец, бывший главный экономический советник Лешека Бальцеровича и замминистра финансов в 1991-1994 гг.: “Стоит напомнить, что экономическая программа правительства Тадеуша Мазовецкого, представленная поздней осенью 1989 г., кардинально отличалась от всего, о чем за

несколько месяцев до этого говорили за «круглым столом». «Солидарность» стояла на профсоюзных позициях, сосредоточившись, в частности, на введении т.н. надбавок на подорожание (...) Тогда предполагалось, что править и дальше будут коммунисты, а «Солидарность» по экономическим вопросам будет выступать с позиции профсоюза. Однако за время, прошедшее между «круглым столом» в апреле 1989-го и приходом к власти правительства Мазовецкого в сентябре того же года, ситуация принципиально изменилась (...) Появился шанс, которым мы воспользовались и добились успеха. Поляк, который едет сегодня на Запад, может чувствовать себя гражданином Европы, в то время как в 70-е или 80-е годы поляку из ПНР трудно было заплатить в западном баре за обед — он мог стоять половину его месячной зарплаты. Средняя зарплата в Польше была эквивалентна 20–30 долларам — сегодня это 1100 долларов. В 1989 г. польский экспорт в конвертируемой валюте составил всего 6 млрд. долларов, а в 2009 г. составит около 140 миллиардов”. («Дзенник — Газета правна», 28 дек.)

• Гжегож В. Колодко, министр финансов в правительствах премьер-министров Павляка (ПСЛ), Цимошевича (СДЛС), Олексы (СДЛС) и Миллера (СДЛС): “В так называемом плане Сакса—Бальцеровича (...) отсутствовали культурные и институциональные аспекты системных преобразований, недостаточно продумана была и их социальная сторона (...) Цена такой политики оказалась значительно выше неизбежной, а результаты — значительно скромнее возможных. С середины 1989 до середины 1992 г. ВВП сократился на 20%, промышленное производство только в 1992 г. снизилось на четверть (!), появилась массовая безработица, увеличившаяся до катастрофической отметки более трех миллионов человек. Бюджетный дефицит в 1992 г. превышал 6% ВВП (...) Так что шоковая терапия — это большая неудача, которую сегодня, спустя два десятилетия, неолиберальная пропаганда пытается представить успехом”. («Жечпосполита», 28 дек.)

• Марек Белька, премьер-министр в 2004–2005 гг., дважды министр финансов, последний год занимает пост директора европейского департамента МВФ: «За эти 20 лет Польша построила экономику, которая прошла испытание на прочность во времена кризиса (...) Польский политический класс оказался достаточно зрелым, чтобы принять вызов преобразований. Мы сознательно создали экономику хорошего качества (...) Мы создали в Польше институты, обслуживающие рыночную экономику на уровне по меньшей мере приличном

(...) Наш банковский надзор мог сказать иностранным собственником польских банков, что они должны делать, и те слушались! Польша — это субъект, с чьим мнением считаются (...) Правительство находится в идеальной ситуации, чтобы приступить к программе консолидации государственных финансов. Бальцерович всё время напоминает об одном: реформы, реформы, реформы (...) Утвердите их в 2010 г., начните вводить в 2011-м”. («Газета wyborcza», 9-10 янв.)

• “По последним данным «Евростата», Польша впервые оказалась в списке шести крупнейших экономик Евросоюза. Наш национальный доход, рассчитанный с учетом реальной покупательной способности злотого, был в 2009 г. больше, чем доход Голландии. (...) «Польша — шестая страна ЕС по численности населения, и нет ничего удивительного, что она занимает шестое место по национальному доходу. Мы заняли это место навсегда», — говорит проф. Витольд Орловский (...) Важнее то, что уровень жизни в Польше перевалил за половину французского. «Это — качественное изменение по сравнению с исходной точкой, какой был упадок коммунизма. Тогда поляки могли позволить себе в четыре раза меньше, чем французы», — напоминает Николя Верон, главный экономист брюссельского Института Брейгеля”. (Енджей Белецкий, «Дзенник — Газета правна», 24-27 дек.)

• Проф. Ежи Осятынский, бывший министр финансов: “Детальный анализ данных о причинах роста польской экономики в 2009 г., заставляет с осторожностью оценивать рост, ожидаемый в 2010 году. Рост ВВП в 2009 г. не вытекал из роста внутреннего спроса, который как раз уменьшился. Причиной его была внешняя торговля — за счет того, что экспорт уменьшился всего на несколько процентов, а импорт на целую четверть. Потребление домашних хозяйств в основном падало, рост потребления в целом произошел благодаря увеличению расходов на массовое потребление. А вот частные инвестиции надолго приостановились, еще медленнее стали расти запасы. Положительное сальдо внешнего товарооборота образовалось прежде всего благодаря ослаблению курса злотого”. («Польска», 8 янв.)

• “Министр финансов года стран Европы — такой титул присвоил Яцеку Ростовскому журнал «Бэнкер». Эксперты отдали должное быстрой реакции министра на экономический кризис, мерам по вступлению страны в зону евро, а также началу переговоров по доступу Польши к гибкой кредитной линии МВФ. Это уже третья международная премия министра

Яцека Ростовского за последние несколько месяцев”.
(«Польска», 6 янв.)

• “Министр финансов Яцек Ростовский объявил, что благодаря высоким доходам бюджета прошлого годный дефицит будет меньше предполагавшихся 27,2 млрд. злотых, и составит 24–25 миллиардов. (...) Доходы будут выше запланированных на 11 млрд. злотых. 9 миллиардов из этой суммы составят более высокие доходы от налогов (...) На 2 млрд. зл. должны вырасти неналоговые доходы (...) Общие доходы бюджета в 2009 г. могут составить 274–276 млрд. зл. (запланировано 272,9 млрд. зл.), расходы — 300 миллиардов (в соответствии с планом)». (Пётр Сквировский, «Газета wyborcza», 7 янв.)

• “Доля теневой экономики в польском ВВП составляет 25%. В среднем по ЕС этот показатель составляет только 15%. «Если ограничить теневую экономику в Польше до среднего уровня по ЕС, в бюджете появились бы дополнительные налоговые доходы, превышающие 20 млрд. злотых», — говорит Мирослав Барщ, эксперт «Business Centre Club» и бывший замминистра финансов”. («Газета wyborcza», 9–10 янв.)

• “Каждое четвертое евро, полученное Польшей из ЕС на 2007–2013 гг., уже распределено между органами местного самоуправления и другими субъектами, пользующимися европейской поддержкой. В руки получателей попала астрономическая сумма 104 млрд. злотых (...) К концу 2009 г. должны были быть подписаны договоры (...) приблизительно на 25% средств, выделенных ЕС (...) Эта сумма уже превышена. 104 млрд. злотых — это почти 27% средств, предоставленных в распоряжение Польши на 2007–2013 годы”. («Дзенник — Газета правна», 6 янв.)

• “В этом году Польша потратит 22,6 млрд. злотых европейских дотаций. Это на две трети больше, чем в 2008 году (...) Большую часть этих денег получили фирмы. Наиболее заметны, конечно, инвестиции в инфраструктуру — шоссе, железные дороги, аэропорты, водопровод, канализацию. Но европейские деньги пошли также на помощь безработным, подготовку кадров, инвестиции предпринимателей, вузы и органы государственного управления”. (Анна Цесляк, «Жечпосполита», 18 дек.)

• Дорожники получили вчера окончательное распоряжение о прокладке объездной дороги вокруг Августова в обход долины Роспуды. Решение Региональной дирекции по охране окружающей среды в Белостоке предписывает прокладывать дорогу вдалеке от охраняемых торфяников. Новым маршрутом

довольны и экологи, и Еврокомиссия. В первоначальном проекте дорога шла в основном через леса и торфяники. От этого отказались после протестов Брюсселя, неправительственных организаций и воззвания «Газеты выборчей», подписанного 150 тыс. человек». («Газета выборча», 30 дек.)

- В Беловежской пуще на территории, не охваченной Беловежским национальным парком, вырублено уже 80–90% старейших дубов. (Адам Вайрак, «Газета выборча», 22 дек.)

- “Из польской древесины изготавливаются, в частности, (...) большие дубовые бочки (...) Дуб — один из самых ходовых видов сырья. Цена (...) кубометра (...) превышает обычно 2 тыс. злотых”. («Жечпосполита», 7 янв.)

- “В ноябре польские предприятия произвели товаров на 9,8% больше, чем год назад. Эксперты ожидали около 7% роста (...) Уровень занятости в ноябре оставался на октябрьском уровне. По данным «Евростата», он выглядит неплохо даже на фоне среднеевропейского: Польша — единственная страна, в которой в третьем квартале 2009 г. занятость выросла на 0,3%. В среднем в 27 странах ЕС она снизилось на 2,1%”. (Марек Хондзинский, «Дзенник — Газета правна», 18–20 дек.)

- “Согласно опросам порталов Rynekpracy.pl и Jobexpress.pl, каждый третий поляк нашел работу через знакомых. Взаимные рекомендации (...) необходимы не только людям со средним образованием, но и высококвалифицированным специалистам”. (Хуберт Салик, «Жечпосполита», 21 дек.)

- “По данным Главного статистического управления (ГСУ), после вступления нашей страны в ЕС работать на Запад выехало 2 млн. поляков. По подсчетам фирмы Eurotax.pl, занимающейся потоками капитала в Европе, за последние пять лет поляки, работающие за границей, заработали около 125 млрд. евро, из чего больше 25 миллиардов было отправлено в Польшу, стимулируя наше экономическое развитие. В этот период сократилась безработица (с 19 до менее чем 9%), а рост ВВП в 2004–2008 гг. составил 4–5% в год (...) Но миграция имеет и оборотную сторону. Разбитые семьи, брошенные дети, алкоголизм, а также психические заболевания — депрессии и неврозы, — которые становятся следствием отчуждения и сильного стресса”. (Эва Весоловская, «Ньюсуик-Польша», 27 дек.)

- “Самая многочисленная группа иммигрантов в Польше — это украинки (...) Они работают домработницами, собирают

фрукты, но и обучают английскому языку (...) Миграция с Украины феминизирована. Не имея возможности устроиться по специальности, украинки часто работают на должностях ниже их квалификации. В первой половине 2009 г. работодатели подали 120 тыс. заявлений о трудоустройстве украинцев”. («Газета wyborcza», 2–3 янв.)

- “Власти Волынской области на Западной Украине участвовали в воскресенье в церемонии открытия памятника украинцам, погибшим от рук поляков в 1943 г. в конфликте на национальной почве. Поляки убили 26 жителей деревень Малиновка и Марьяновка (...) Число польских жертв т.н. волынской резни, т.е. массовой акции Украинской повстанческой армии, оценивается в 30–60 тысяч. Украинцы говорят о 10–12 или даже 20 тыс. жертв с их стороны. Часть была убита УПА за помощь полякам или за отказ присоединиться к инициаторам резни”. («Газета wyborcza», 15 дек.)

- “Согласно последнему отчету «Евростата», Польша охотнее остальных стран ЕС предоставляет беженцам право убежища и другие формы помощи. В прошлом году польские службы вынесли положительные решения по 65% заявлений иностранцев. Это почти в два раза больше, чем в среднем по ЕС (...) В прошлом году 91% всех подавших заявления о предоставлении убежища в Польше составили чеченцы (...) Кроме них статус беженца получили несколько десятков белорусов, армян и вьетнамцев, а также 30 иракцев (в основном это были переводчики, эвакуировавшиеся с нашим контингентом из Ирака). Всего в прошлом году право на постоянное место жительства в Польше по политическим обстоятельствам получили 2,8 тыс. человек (во Франции их было 11,5, в Германии — 10,7, в Италии — 9,7, в Швеции — 18,7 тысяч)”. (Енджей Белецкий, «Дзенник — Газета правна», 15 дек.)

- “В Згожельце задержано более 200 беженцев, в основном из Чечни (...) Дирекции своего лагеря беженцев они оставили письмо, в котором сообщили, что поехали в Страсбург напомнить о своих правах (...) Беженцы жалуются, что в лагерях не уважают их обычаи — например, дают мусульманам свинину. Они получают пособия, на которые невозможно прожить. Ожидая статуса беженца (процедура длится около года), они не имеют права работать. А без заработка невозможно содержать себя и семью”. («Газета wyborcza», 16 дек.)

- “Более 80 чеченцев, которые пытались выехать из Польши на поезде через Згожелец, отправлены обратно в лагерь для

беженцев (...) Теперь они организовали протест. Они не вселились в приготовленные для них комнаты и сидят в столовой. Беженцы требуют, чтобы польские власти организовали им проезд в Страсбург и освободили их соотечественников, арестованных за нелегальное пребывание в Польше (...) Они заявили, что выполнения своих требований будут ожидать 72 часа. После этого с их стороны возможны меры вплоть до самоубийства”. («Газета wyborча», 18 дек.)

• “В Польше более 3 млн. человек живет ниже статистической черты бедности, а еще столько же к этой черте приближается. У нас стабильно высокая безработица и беспрецедентно запущенное раннее образование детей (...) Растет число детей, попадающих в детские дома. После выхода из детдома они обычно остаются на иждивении государства”. («Политика», 19–26 дек.)

• Лешек Бальцерович: “У Польши огромные бюджетные расходы, доходящие до 44% ВВП. Для страны со столь низким доходом на душу населения это огромная сумма. Правда, в Венгрии дело обстоит еще хуже, но мы и так остаемся в хвосте. Причина такого положения дел в Польше — исключительно социальные расходы. А это ведет к дальнейшим проблемам — чрезмерным налогам, скапливающемуся дефициту и все быстрее растущему государственному долгу. Таков общий диагноз. Эта болезнь государственных финансов длится в Польше уже не один год и свидетельствует о том, что наше общество слишком часто позволяет дурачить себя политикам — фальшивым Дедам Морозам (...) Чрезмерные социальные расходы демобилизуют общество. Поскольку они неправильно адресованы, меньше людей работает, откладывает деньги”. («Жечпосполита», 12–13 дек.)

• “В третьем квартале 2009 г. ВВП в Польше вырос на 1,7% — значительно больше, чем предсказывали экономисты, и больше, чем во втором квартале, когда он вырос на 1,1%. Польша — по-прежнему единственная страна ЕС, в которой зафиксирован рост ВВП в годовом масштабе”. («Впрост», 13 дек.)

• “«Валовой», потому что он не включает в себя амортизацию капитала в процессе производства. «Внутренний», поскольку он учитывает только блага, произведенные на территории нашей страны. «Продукт» — поскольку речь идет о готовых изделиях и услугах, о конечном результате производственной деятельности (...) Это показатель, который плохо отражает изменения жизненного стандарта, не учитывает ни качества жизни, ни влияния экономической деятельности на

окружающую среду (...) HDI (Human Development Index) учитывает среднюю продолжительность жизни, умение читать, охваченность образованием на всех уровнях, а также ВВП на душу населения с учетом покупательной способности. По этому показателю Польша занимает 41-е место среди 182 стран мира (2007 г.). EPI (Environmental Performance Index) оценивает состояние окружающей среды и ее жизнеспособность, учитывая загрязнение воздуха, качество воды, выброс парниковых газов, использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. Здесь Польша занимает 43-е место среди 149 стран мира (2008 г.). HPI (Happy Planet Index) сопоставляет ожидаемую продолжительность жизни, субъективную удовлетворенность жизнью с т.н. экологическим следом, т.е. потребностью страны в природных ресурсах и возможностью их восстановления. В этом рейтинге Польша занимает 77-е место среди 143 стран мира (2005 г.)". («Политика», 12 дек.)

- Рекс Уэйлер, один из основателей «Гринписа», приехал в Польшу в связи с изданием перевода его книги: "Сначала мы уничтожим экологию Земли, а потом поубиваем друг друга в глобальных войнах за доступ к природным ресурсам. Культ постоянного роста ВВП ведет непосредственно к этому (...) Система основана на противоречащей природе уверенности, что постоянный рост возможен. В природе нет такой системы, которая росла бы до бесконечности (...) Чего можно ожидать от такой системы?" («Политика», 12 дек.)

- "Согласно отчету Высшей контрольной палаты, мы сокращаем количество выбросов CO₂ в пять раз быстрее, чем того требует Киотский протокол (...) Проверка охватывала 2006–2008 годы (...) Польша поддерживает постоянный уровень сокращения выбросов парниковых газов: 29% (...) Успехом стало поддержание этого уровня несмотря на рост ВВП (...) Польша располагается (...) в середине списка государств, охваченных проверкой". («Жечпосполита», 17 дек.)

- "Министр окружающей среды Мацей Новицкий подал в отставку, которую Дональд Туск принял (...) 25 млн. евро от продажи Польшей прав на выброс CO₂ министр собирался предназначить на экологические цели". («Впрост», 20 дек.)

- "Согласно опросу ГфК «Полония» от 4–10 декабря, достижениями кабинета Дональда Туска довольны 13% поляков (...) 81% не доволен (...) Год назад 30% опрошенных утверждали, что правительство соответствует их ожиданиям.

Противоположного мнения придерживались 68%”.
(«Жечпосполита», 28 дек.)

• Согласно опросу ЦИМО, поляки считают, что государство должно заботиться прежде всего о безопасности граждан (59%), а затем в порядке убывания: о борьбе с коррупцией (52%), об уменьшении социального неравенства (38%), о свободе и гражданских правах (25%). Лишь на десятом месте оказалась защита прав национальных меньшинств (9%). Большинство анкетированных уверено, что частная собственность лучше государственной (67%), демократия при любых обстоятельствах лучше иного строя (66%), а большинство не может навязывать законов меньшинству (65%). Однако за то, что свобода важнее порядка, высказывается только половина из нас (50%), а что права личности важнее, чем требования общества, — меньше половины (49%). («Политика», 19-26 дек.)

• Согласно опросу Лаборатории социологических исследований от 8-10 января, президентский рейтинг выглядит так: Дональд Туск — 35%, Лех Качинский — 18%, Анджей Олеховский и Ежи Шмайдинский — по 10%. («Газета wyborcza», 13 янв.)

• Согласно опросу ГфК «Полония» от 7-12 января, «Гражданскую платформу» (ГП) поддерживают 49% поляков, «Право и справедливость» (ПиС) — 26%, Союз демократических левых сил (СДЛС) — 12%, крестьянскую партию ПСЛ — 6%. («Жечпосполита», 13 янв.)

• Проф. Дэвид Ост, преподаватель колледжей Хобарта и Уильяма Смита (штат Нью-Йорк): “ПиС сосредоточился исключительно на борьбе за политическую власть, которую он хочет использовать в морализаторских целях и для поучений, в то время как ГП, у которой политическая власть имеется, постоянно ведет себя так, как будто бы она была ей не нужна. Когда можно выбрать между партией без концепции, как ГП, и партией, морализирующей и разжигающей противоречия, как ПиС, то люди, некогда выступавшие против патернализма, сделают этот выбор без труда (...) Именно своим скромным, ненавязчивым стилем правления ГП может привести к более глубокой консолидации правых, чем ПиС. Трудно представить себе, чтобы Церковь имела еще большее влияние на политическую жизнь, чем сейчас, но поскольку премьер не жалуется отца Рыдзыка, это не вызывает особого протеста”. («Ньюсуик-Польша», 10 янв.)

• Проф. Мартин Круль, Варшавский университет: “Во всех политических группировках преобладают люди, которых социологи называют «новыми». Однако среди них нет места

тем, кто заменил бы уходящих. Нам прекрасно известны круги и институции, которые по разным причинам постепенно снижали свой уровень — тогда работавшие в них люди блокировали тех, кто мог бы блеснуть, и допускали только худших. Это можно назвать «негативным отбором». И именно с таким отбором мы имеем дело в Польше (...) «Новых» отличает прежде всего язык. Я имею в виду даже не злоупотребление вульгаризмами в частном и публичном контексте, хотя и это поражает, а скорее неумение пользоваться польским языком. В публичных выступлениях это бросается в глаза всюду, особенно в парламенте, но в не меньшей степени это заметно и в ходе бесконечных, непозволительно скучных телевизионных бесед. Перед языком политики беззащитны, поэтому они пытаются друг на друга порывивать, зная, что публично не могут просто выругаться — а именно это они сделали бы охотнее всего”. («Дзенник — Газета правна», 28 дек.)

- Проф. Бронислав Лаговский: “Сегодня в Польше нет цензурного ведомства, правительство не навязывает убеждений, и тем не менее в прессе, в крупных СМИ эффект однородности взглядов достигнут”. («Пшеглэнд», 3 янв.)

- “Павел Зызак, человек, который своей книгой о Лехе Валенсе вызвал политическую бурю, (...) получил стипендию на четырехмесячный стаж в вашингтонском Институте мировой политики. Предоставила ее американская Полония (...) После того как в марте была опубликована биография «Лех Валенса. Идея и история» (...), Зызак потерял работу (...) Найти работу по специальности оказалось практически невозможно (...) И молодой историк попал в один из супермаркетов. Пять месяцев он проработал там кладовщиком”. (Ярослав Стружик, «Жечпосполита», 8 янв.)

- Проф. Кароль Модзелевский, вице-президент Польской Академии наук, бывший политзаключенный и один из создателей «Солидарности», член ее центрального руководства: “«Круглый стол» был соглашением банкротов коммунизма с историческими лидерами тогдашней «Солидарности». От коммунистов к тому времени осталась армия, полиция и немного государственного аппарата. От «Солидарности» — тысяча или две активных деятелей подполья, какие-то группки интеллигентов, окружавшие Валенсу, горстка исторических лидеров. Когда пришли две волны забастовок [мая и августа 1988], оказалось, что в них участвуют молодые люди, не имеющие ничего общего ни с «Солидарностью» (поскольку в начале 80-х они еще ходили в школу), ни с

подпольем (поскольку они к нему не принадлежали). Остался миф. Массовое движение было подавлено, подпольные структуры оказались хилыми, так как не были укоренены в массах, на заводах, — но миф выжил. И забастовщики, чтобы страна поняла их и поддержала, вынуждены были требовать не только повышения зарплат, но и «Солидарности» (...) Хранителями мифа были Валенса и собранные вокруг него деятели старой «Солидарности» (...) Банкроты в мундирах должны были договориться с банкротами (...) «Солидарности» (...) Можно сказать, что коммунизм рухнул сам, но никто этого не хочет признавать (...) Он рухнул, поскольку Горбачев пытался модернизировать СССР, чтобы угнаться за Америкой в гонке вооружений. Ведь никто в здравом уме не поверит, что его развалил тот остаток «Солидарности», который дожил до 1989 года». («Пшеглэнд», 3 янв.)

- “«Трибуна» [бывшая «Трибуна люду»], единственная и последняя левая газета в Польше, прекращает свою деятельность, замыкая 61-летний период своей и польской истории. Издатель газеты говорит лишь о двухмесячном перерыве, но в это мало кто верит”. («Польша», 8 дек.)
- “Польша и США подписали соглашение о размещении в нашей стране американских войск”. («Тыгодник повшехный», 20–27 дек.)
- “Очередной, шестнадцатый по счету польский солдат погиб в Афганистане. 22-летний старший рядовой Михал Колэк, который служил в элитной части сил быстрого реагирования, погиб в перестрелке с талибами”. («Дзенник — Газета правна», 21 дек.)
- “С 1 января боевая группа ЕС перейдет под командование поляка (...) Боевое дежурство мы будем нести полгода (...) Кроме поляков, в состав боевой группы ЕС входят также немцы, словаки, литовцы и латыши. Но две трети состава, насчитывающего 3 тыс. военнослужащих, — это поляки”. («Польска», 28 дек.)
- “Бывший замминистра национальной обороны Анджей Каркошка назначен председателем консультативного совета при командовании войск специального назначения НАТО”. («Польска», 22 дек.)
- “Польша и Китай будут развивать военное сотрудничество, заявили министр обороны Богдан Клих, пребывающий с визитом в Пекине, и председатель китайского Центрального военного совета Сюй Цайхоу (...) Клих утверждает, что

отношения между двумя странами плодотворны, а Польша восхищается развитием Китая”. («Газета выборча», 16 дек.)

- “Премиию им. Андрея Сахарова, присуждаемую Европарламентом, получили вчера члены «Мемориала» (...) «Мы хотим внести свою лепту в то, чтобы положить конец страху и насилию, которые окружают правозащитников в России», — подчеркнул председатель Европарламента Ежи Бузек, вручая премию”. («Дзенник — Газета правна», 17 дек.)

- После задержаний 31 декабря в Москве председатель Европарламента Ежи Бузек написал в своем заявлении: “Меня лично задела информация, что Алексеева, очень уважаемая правозащитница, которой я недавно вручал премию им. Сахарова, арестована. Алексеева требовала соблюдения конституции. Я все еще надеюсь, что когда-нибудь Россия будет партнером, на которого Евросоюз сможет положиться. Партнером, уважающим основные права человека”. («Жечпосполита», 2-3 янв.)

- “Премьер-министр Дональд Туск должен подписать польско-российский газовый договор еще до Рождества. Международное соглашение открывает путь к заключению контракта между газовыми компаниями обеих стран (...) Подписание его Польской нефтегазовой компанией (ПНГК) и «Газпромом» может состояться в тот же день, когда придут к соглашению представители правительств. Если это произойдет, то уже с января и в течение ближайших 28 лет у нас будут гарантированные поставки”. (Михал Дущик, «Дзенник — Газета правна», 14 дек.)

- “Если правительство одобрит газовый договор с Россией, «Право и справедливость» потребует отдать премьера под суд Государственного трибунала”. («Жечпосполита», 19-20 дек.)

- “В отчете президентского Бюро национальной безопасности сказано, что подписание договора в форме, одобренной ПНГК и обсуждаемой на переговорах министерством экономики, углубит зависимость Польши от российского газа, усложнит строительство газопорта для сжиженного газа из Катара и облегчит России установление полного контроля над газовым транзитом в Германию через Польшу”. («Польска», 19-20 дек.)

- Вице-премьер Вальдемар Павляк: “Пока ПНГК и «Газпром» не придут к выгодным для Польши договоренностям по вопросам прошлых и будущих расчетов, нет оснований для окончания межправительственной процедуры”. («Газета выборча», 21 дек.)

- “Вице-премьер Вальдемар Павляк заявил о продолжении переговоров, но не межправительственных, а лишь ПНГК с «Газпромом» (...) Это фактически означает выход Польши из международных переговоров с Россией (...) Результатом может быть потеря весьма сомнительного контракта, подсовываемого министерству экономики спецами из «Газпрома». Благодаря этому мы приобретаем время на постройку соединителей в Германию и Чехию, а также на развитие польских месторождений”. (Якуб Мельник, «Польска», 21 дек.)

- “Чешский «Газ-Систем» подписал договор с фирмами, которые в ближайшие 15 лет будут закупать газ в Чехии: с ПНГК, энергетической фирмой KRI, а также с компанией «Haden» с немецким капиталом (...) В 2011 г. Польша получит дополнительные 0,5 млрд. кубометров газа. Это 3-4% необходимого нам сырья (...) По мнению Бюро национальной безопасности, многое указывает на то, что сырье через Чехию будет поставлять «Газпром»”. («Дзенник — Газета правна», 6 янв.)

- Президент ПНГК Михал Шубский: “В первой половине 2009 г. мы говорили со всеми европейскими фирмами. Мы предлагали закупку из транзитного газопровода с пунктом назначения в Польше. Каждый из партнеров ставил такой договор в зависимость от согласия «Газпрома» (...) Все европейские газовые фирмы совершают с «Газпромом» крупные сделки — не на 2 млрд. кубометров, о которых Польша ведет дополнительные переговоры, а на несколько десятков миллиардов. Они не будут рисковать своей позицией на переговорах, чтобы продать миллиард кубометров Польше”. («Газета wyborча», 21 дек.)

- “Министр казначейства не согласен на новые уступки России. «Газпром» не желает платить по долгам. Подписание газового соглашения с Россией и дополнительные поставки горючего в будущем году и в последующие годы зависят от того, согласится ли Польша, чтобы «Газпром» не заплатил 80 млрд. долларов. Это сумма, которую российский концерн должен «ЕвроПолГазу» за транзит сырья через Польшу (...) Министр казначейства негативно оценил газовый контракт, содержание которого представители министерства согласовали в начале декабря в Москве (...) «Поскольку вопрос долга «Газпрома» не был решен, нельзя говорить об окончании переговоров и межправительственном соглашении», — сказал замминистра казначейства Миколай Будзановский”. («Жечпосполита», 30 дек.)

- “«ЕвроПолГаз» выиграл в суде спор о погашении первой части долга — более 20 млн. долларов за 2006 г. — и рассчитывает на очередные выигранные дела (...) Руководство «Газпрома» (...) заявило, что концерн не намерен отдавать долг (...) Только российская сторона может обеспечить нам дополнительные поставки газа. Поэтому она способна долго тянуть с погашением задолженности. В то же время польский президент «ЕвроПолГаза» не может отступить от требований возврата долга, потому что в противном случае им могла бы заняться прокуратура”. (Агнешка Лакома, «Жечпосполита», 22 дек.)

- “«Газпромэкспорт» поставляет нам столько газа, как будто контракт, который должен был увеличить объем импорта, уже вступил в силу», — говорит вице-президент ПНГК Михал Доброут. Обе фирмы согласовали новые условия контракта — увеличение ежегодных поставок до 10,3 млрд. кубометров и их продление на 15 лет, до 2037 г. (по старому контракту россияне должны были поставить нам в этом году около 8 млрд. кубометров газа). Но договор не вступил в силу, так как это лишь одна из составляющих газового соглашения, договоренность по которому не достигнута. Несмотря на это российская сторона сделала жест доброй воли и уже увеличила экспорт в Польшу на 10 млн. кубометров в сутки. «Если бы не этот дополнительный импорт, нужно было бы объявить десятую степень газообеспечения, что на практике означает ограничение поставок промышленности», — говорит Доброут”. («Жечпосполита», 5 янв.)

- “Импорт угля из России достиг в 2009 г. рекордного уровня около 7 млн. тонн. Польша купила на востоке на 90% больше угля, чем в 2008 году. Российский уголь дешевле польского, (...) и в нем низкое содержание серы”. («Жечпосполита», 6 янв.)

- Газовые переговоры с Москвой должны были начаться на следующей неделе. Пока что с 1 января «Газпром» увеличил поставки на дополнительные 10 млн. кубометров в день. Однако дополнительный газ взят из запасов, которые мы должны были получить во второй половине года. Это может означать, что уровень поставок, гарантированный действующим до сих пор ямальским контрактом, будет в недалеком будущем исчерпан. А что потом? ” (Михал Дущик, «Дзенник — Газета правна», 8 янв.)

- Проф. Адам Даниэль Ротфельд, бывший министр иностранных дел, сопредседатель Польско-российской группы по трудным вопросам: “В рамках Польско-российской группы по трудным вопросам (...) мы решили, во-первых, составить

каталог серьезных проблем в отношениях между Польшей и Россией в XX в. и проследить, как видят их поляки и россияне (...) Нам удалось подготовить 15 тематических блоков (...) Российские и польские ученые представили свои точки зрения в форме 15 двойных глав (написанных польскими и российскими авторами). Часто позиции двух сторон оказывались близкими (...) Что касается русских пленных войны 1920 г., то еще в 2004 г. мы вместе с российскими историками издали двуязычный сборник документов, презентация которого в России, к сожалению, до сих пор не состоялась. Он залеживается на складах (...) Второй нашей целью было налаживание цивилизованного канала постоянного диалога. Мы согласовали совместное письмо министрам иностранных дел с просьбой передать премьер-министрам проект создания центров диалога, которые (...) занимались бы нравственно-политической оценкой сталинских преступлений, облегчением доступа к архивам, увековечиванием мест упокоения жертв (...) Эти центры ширили бы терпимость и знакомили молодое поколение с вопросами, которые годами вычеркивались из истории, а также предотвращали бы фальсификацию этих вопросов (...) Третья цель состояла в том, чтобы склонить Русскую Православную Церковь и польскую Римско-Католическую Церковь к установлению контактов, способствующих примирению (...) С того времени в отношениях православной и католической Церквей произошли существенные изменения (...) За короткое время наша группа достигла большего, чем я ожидал. Однако это не слишком повлияло на улучшение польско-российских взаимоотношений. В конце августа — начале сентября российская пресса тонула в антипольской пропаганде (...) Наша группа устраняет проблемы, вытекающие из истории. Однако оказывается, что не они были главной преградой во взаимных отношениях”. («Пшеглэнд», 10 янв.)

• “Евродепутат Павел Коваль купил корову (...) чтобы помочь таджикским женщинам (...) Он передал ее хозяйкам в Таджикистане. Стремясь улучшить судьбу своих семей и деревень, женщины основывают женские клубы. Там они ведут хозяйственную деятельность, и для этого корова им очень пригодится. Основывать женские общества помогает польский фонд «Образование ради демократии». Коров для таджикских семей закупили через фонд уже многие школы и предприятия; можно сброситься на корову и индивидуально. Одна корова стоит около 650 долларов, т.е. более 1800 злотых”. («Польска», 8 янв.)

- “На сегодняшний день титул Праведника среди народов мира, который присваивается израильским Институтом «Яд-Вашем», получило около 6200 поляков (...) Часто эти люди, отважившиеся помогать евреям, прятали по несколько человек. Случались и рекордсмены — например, один поляк, житель Дрогобыча, спрятал в собственноручно обустроенном бункере 37 евреев”. («Ньюсуик-Польша», 13 дек.)

- “Неизвестные похитили надпись «Arbeit macht frei», висевшую над воротами бывшего немецкого концлагеря Аушвиц”. («Жечпосполита», 19-20 дек.)

- Марек Кутя, профессор краковского Ягеллонского университета: “В польской культуре есть такая черта: мы верим в неприкосновенность того или иного пространства (...) Аушвиц (...) — это место Катастрофы (...) символ уничтожения евреев — и не только польских, но со всей Европы. (...) Среди 1,1 млн. евреев, вывезенных в Аушвиц, около 300 тысяч было из Польши (...) Поездка в Аушвиц становится шоком для каждого человека. Если кто-то недочеловек, ничего не поделаешь”. («Тыгодник повшехный», 3 янв.)

- “Полиция нашла надпись из Аушвица. Выследить виновных удалось менее чем за три дня (...) Арестованы пятеро мужчин в возрасте от 20 до 39 лет (...) К сожалению, надпись повреждена. Воры ее разрезали. Каждое слово найдено отдельно (...) Человеку, который помог поймать воров, выдана премия в размере 115 тыс. злотых. Полиция приняла около 80 сигналов”. («Жечпосполита», 21 дек.)

- “Вчера президент Лех Качинский поздравил полицейских (...) От имени еврейского сообщества полицию поблагодарили также председатель Союза еврейских религиозных общин Пётр Кадльчик и главный раввин Польши Михаэль Шудрих”. («Жечпосполита», 22 дек.)

- “Гражданин Швеции, который должен был получить из Польши надпись «Arbeit macht frei», украденную из бывшего лагеря Аушвиц-Биркенау (...) — это бывший неонацист Андерс Хергстрем, (...) 34 летний житель Карлскроны”. («Жечпосполита», 9-10 янв.)

- Марек Бенчик: “Все мы были глубоко потрясены гнусностью этой бандитской кражи. Но ужас заключается не только в совершённом деянии. То, о чем не было сказано, но что ужасает еще больше, — это ощущение, что уже зарубцевавшаяся рана снова открылась и начала кровоточить”. («Тыгодник повшехный», 3 янв.)

• 93% поляков называют себя католиками, 81% — верующими и глубоко верующими. В существование вечной жизни в награду или наказание за земные дела верят 80% опрошенных, но в существование ада — уже только 68,5%. В непорочное зачатие Матери Божией — 80%, но в ее Вознесение — 71,5%. 51% опрошенных считает гражданский брак таким же полноценным, как и церковный, 47% одобряют половое сожителство до брака, а половина — применение противозачаточных средств. 68% выступают против аборт, более 60% высказываются против эвтаназии, а 66% — против гомосексуальных практик. Опрос «Семья — религия — общество» провел Институт социологии Университета им. кардинала Вышинского в Варшаве». («Жечпосполита», 5-6 дек.)

• “С праздничных открыток, посылаемых фирмами и учреждениями, исчезают Христос, ясли и ангелы. Там царствуют елки и зимние пейзажи (...) Совершенно новые рождественские мотивы ввела телефонная компания «Диалог». Ее праздничный буклет украшен изображением полярного медведя и одетой в белое фотомодели”. («Жечпосполита», 24-27 дек.)

• “Как каждый год, мы купили и съели на Рождество 20 тыс. тонн карпов. Большинство из них погибнет в муках, потому что в традицию вошла покупка живых рыб и собственноручный их убой”. (Эва Седлецкая, «Газета wyborcza», 22 дек.)

• “В сочельник никто не осмелится подать отбивную (...) Не есть мяса в канун Рождества — это обычай (...) Карп должен быть (...) Как же получается, что мы равнодушно воспринимаем предпраздничное умерщвление карпов?” (Филипп Врублевский, «Тыгодник повсехный», 20-27 дек.)

• “Поправки к закону об охране животных ужесточили правовые санкции (...) Продавцы могут убивать карпа [ударом в голову] за ширмой”. (Лукаш Кулиговский, «Дзенник — Газета правна», 21 дек.)

• Трое учащихся вроцлавского общеобразовательного лицея №14 подали заявление на имя директора. Зузанна Немер, Томаш Хабинка и Аркадиуш Шадурский, ссылаясь на ноябрьский приговор Европейского суда по правам человека, который гласил, что вывешивание распятий в школах нарушает религиозные свободы, требовали убрать их также из классов своего лицея. В заявлении они написали: «Размещение религиозных символов в общественном учреждении мы воспринимаем как проявление предпочтения школой одного

определенного мировоззрения». Директор организовал в школе дискуссию на эту тему. («Газета выборча», 18 дек.)

• “Зоотехник Эва Реент много лет руководила лабораторией подопытных животных для медицинских нужд. Она написала много научных работ о приспособлении живых организмов к вредным и критическим условиям. Сегодня она основала телефонную службу для тех, кто ищет потерянных собак”. (Барбара Петкевич, «Политика», 19–26 дек.)

• “Карина Шверцлер сделает все, чтобы поймать и наказать виновных в издевательствах над животными. Этого достаточно, чтобы смотреть на нее, как на чудачку. У британцев есть уполномоченный по делам животных (...) Такую должность учредили также немцы и словенцы. В Словакии защитой животных занимается целый департамент, а в Австрии девять омбудсменов федеральных земель. В Польше есть Карина Шверцлер. В Конских, откуда она родом, Карина Шверцлер досаждаст настолько, что бургомистр (...) признаётся: «Охотнее всего я забыл бы, что она местная» (...) Несколько лет она училась в Германии, потом в Цюрихе (...) Когда она уведомила прокуратуру об издевательствах над собакой, кто-то сжег ее машину (...) Уполномоченной по делам животных в Канцелярии президента Польши она стала в январе 2009 года (...) Она знает, что когда дело коснется животных, оба брата Качинских станут за нее стеной (...) В канцелярии началась работа над президентским проектом изменений в законе об охране животных (...) В работе над законом ее поддерживает проф. Анджей Эльжановский, зоолог и палеонтолог. Позицию Брюсселя озвучивает Януш Войцеховский. Карина знает, что должна выиграть битву, что на нее посыплются громы и молнии (...) Положение животных угнетает ее, как ничто на свете”. (Ягенка Вальчак, «Политика, 9 янв.)

• “Подвалы варшавского Дворца культуры и науки занимают несколько тысяч квадратных метров (...) Эти подвалы патрулируют двадцать кошек, законно принятых на работу управлением дворца. Ежемесячно им выплачивают в общей сложности тысячу злотых (...) На курицу, сухой корм, песочек и (...) стерилизацию хватает. (...) Они должны охранять подвал от грызунов (...) Управление дворца выделило им также помещение, которое в народе называют «Котлэндом» (...) — выстилка, холодильник, полностью оборудованная кухня (...) лампа, горящая 24 часа в сутки. Этаким заменитель солнца (...) Они приходят сюда, чтобы погреться (...) Никто не знает, почему, но все кошки, которые закончили свою жизнь в

дворцовых подвалах, последние минуты жизни проводили именно здесь. Они приходили умереть в лучах солнца дворцовых подземелий”. (Дариуш Янишевский, «Ньюсуик-Польша», 27 дек.)

ПИСЬМО ЛЕНИНА?

Необходимо довольно подробно объяснить, как и почему публикуемое ниже письмо оказалось на страницах «Культуры».

Оно было впервые напечатано 21 июля 1921 г. в Польше, в русской эмигрантской газете «Свобода»; на письме обозначена дата (июнь 1921, Москва), вместо подписи буква N. Не будучи советологом, могу лишь привести не слишком объемную, но для меня абсолютно убедительную информацию, что это письмо, перехваченное по дороге, якобы является письмом Ленина. Вот это письмо^[1].

Москва, июнь 1921 года

Я устал. Я чувствую это с каждым днем все более и более, и меня невольно тянет отдохнуть за своими книгами и проверить своими объективными наблюдениями те выводы, которым я отдал всю свою жизнь. Нервы уже не те. Все больше и больше начинает нервировать мелочность окружающих, их мещанство, которое растлевает прочный организм партии. Государственная работа в такой форме, в которой она происходит сейчас у нас, положительно невозможна. Наша молодая бюрократия восприняла полностью все недостатки своих предшественников, и, по наивности, еще более углубила ту рознь, какая существовала ранее между правителями и управляемыми.

Наша ставка на коллективный инстинкт, который должен сдерживать членов партии, оказалась битой. Наши надежды на тот же коллективный инстинкт и классовое самосознание рабочих и крестьян также потерпели неудачу. Я вспоминаю теперь Вашу прощальную фразу, сказанную мне в момент моего отъезда в Россию в 17 году. Вы мне сказали, чтобы я не забывал того, что я совершенно отвык и разучился понимать дух русского рабочего и крестьянина, что годы эмиграции оторвали меня от возможности непосредственно наблюдать русскую общественность, и чтобы я был осторожен.

Нас всех захлестнула власть, захлестнул успех. Я сам увлекся возможностью поверить свои выводы на практике, глубоко веря в стойкость своей партии, в ее жизнеспособность. Бросив толпе широкие перспективы грядущих социальных реформ я старался разбудить у интеллигентного пролетариата, у рабочих

и крестьян, самостоятельность, которая бы, проводя на месте директивы центра, дала бы фундамент грядущего социалистического государства, могущего служить образцом народам всего мира. Скажу Вам, что три года я колебался, три года я не решался сознать, что мы были неправы, что я выбрал ненадлежащие методы, но сейчас, подводя итоги всей нашей деятельности, я должен сознаться, что я был неправ, что переоценил силы партии, переоценил русского рабочего и крестьянина.

Скажу Вам кратко, что и русский рабочий, и русский крестьянин предал свои интересы, предал партию совершенно бессознательно в силу своей мягкотелости и рабской психологии, которая пересилила революц. подъем и остановила развитие рев. психологии на полпути. Наивность, детская культура, детская жестокость, полное непонимание и неумение понять необходимость работать на завтра, косность и тупость к восприятию новых идей, вот та плотина, перевалить которую оказалось не под силу нам, несмотря на все те действительно героические усилия, которые напрягала партия все эти годы. Если мы держимся, то держимся исключительно усилиями партии, которая тратит все свои жизненные силы исключительно на то, чтобы удержать власть и таким образом хоть немного продлить возможность перевоспитания социального мировоззрения и тем самым подготовить этап для дальнейшего развития и углубления социальной революции.

Но, я чувствую, что силы партии с каждым днем истощаются все больше и больше, что партию начинают разъедать внутренние дразги и мелкое честолюбие отдельных лиц, которые ставят частные интересы выше интересов общих. Это борьба на массе всевозможных фронтов, окончательно нас доконает. Уже давно я видел неизбежность компромисса, неизбежность уступок с нашей стороны, которые бы могли влить в партию новые силы, подкрепить хоть немного изнемогающую кучку действительно беззаветно преданных делу работников. Без этого у нас не будет никакой возможности не только удержаться, но и просуществовать. Ставка на революционный милитаризм, которую ведут наши «Наполеоны», по моему мнению, будет бита и явится последним усилием нашей партии, которая погибнет, истощив весь запас своих жизненных сил. Я писал Красину о необходимости частным путем вступить в переговоры с эмигрантскими социалистическими кругами о возможности какого-либо компромисса. С такой же точно просьбой я обращаюсь к Вам как к своему старому другу и, кроме того, человеку абсолютно беспартийному. Вам легче будет

установить контакт с нашей эмиграцией и легче будет договориться с ее руководителями. Не скрою, что я бы хотел получить от Вас какие-либо сведения в самое ближайшее время, так как время не терпит и лучше договориться сегодня, а не через полгода, когда, может быть, уже будет поздно. Жду Ваших писем в самом ближайшем будущем. Читая их, я отдыхаю, вспоминая Вас и наши цюрихские споры. От всего сердца приветствую Вас.

N

«Свобода», 21 июля 1921 г.

Мне не хотелось бы упустить ни одной подробности из тех, которые сохранились в памяти; попробую ее освежить, описав некоторые **человеческие связи**, которые заставили меня, молодого, не вовлеченного активно в политику студента Академии художеств, заинтересоваться этим письмом и всем, что непосредственно с ним связано.

*

Зимой 1918-1919 годов я познакомился в Петрограде с Дмитрием Мережковским и его женой, знаменитой поэтессой Зинаидой Гиппиус. Бывал у них, на Сергеевской, почти каждый день. Не было угля, не было хлеба, но споры о революции, о России, о Боге, о Достоевском и Ницше бывали горячими и страстными. У Мережковских я познакомился также с Дмитрием Философовым, который уже ряд лет с ними жил и тесно сотрудничал.

Той же зимой я вернулся в Польшу, годом позже покинули Россию Мережковские и Философов, нелегально перейдя советско-польскую границу. Я был первым, кто в Варшаве получил об этом известие и принял их. Присутствие в Польше Мережковского, всемирно известного писателя, который только что порвал с советской Россией, его лекции в Варшаве, подчеркнуто пропольские, были своего рода сенсацией. Через Струга мы организовали встречу Мережковского с Пилсудским. Тогда и зародилась идея широкого польско-русского сотрудничества, а точнее, совместных политических действий Польши Пилсудского и так называемой Третьей России, т.е. группы левой революционной русской интеллигенции, которая полностью порывала с фатальной национальной политикой «единой и неделимой» царской России и была готова бороться против коммунизма в России, диктатуры пролетариата, удушения всех свобод и всё более свирепого террора. Речь шла о борьбе во имя нового, тоже революционного, будущего России

и новых польско-русских отношений. Тогда же была создана газета «Свобода»; редактором стал Дмитрий Философов; в редакционную коллегию входили, в частности, Мережковский, Зинаида Гиппиус, российский либерал Родичев, который прибыл с Запада в Варшаву на «премьеру» газеты. Центральной фигурой всего дела был, однако, Борис Савинков, который тоже тогда приехал в Варшаву, чтобы встретиться с идейно близкими ему давними друзьями — Мережковскими и Философовым. Савинков, один из лидеров партии эсеров, террорист царских времен, министр Временного правительства в 1917 г., пользовался в то время у русских революционных «левых» славой самого грозного врага Советов. Савинков знал Пилсудского еще с довоенных времен (не знаю, лично ли или только через партийные и революционные контакты); Дмитрий Философов в то время в Польше был человеком никому неизвестным.

Мережковский, обладавшим богатой фантазией, воображением и энтузиазмом, но одновременно политически наивный, уже видел Польшу, Польшу Мицкевича и Красинского, которая после победоносной войны с Советами «установит крест на стенах московского Кремля»! Рижский мир, признание де-юре Советской России стали для Мережковских горьким разочарованием; они демонстративно покинули «братскую» Польшу и поселились в Париже. В одном письме из Парижа Мережковский написал: «Даже если бы от этого должна была зависеть наша и ваша свобода, я этого паука (Рижский мир) проглотить не могу!»

Дмитрий Философов, в отличие от Мережковских придерживавшийся избранной им политической линии, основатель и бессменный редактор «Свободы», оставался в Польше до своей смерти (1940), в первые годы как представитель Савинкова и связной между ним и Пилсудским.

Савинков и Философов были, пожалуй, единственными русскими, которых Пилсудский несколько раз принимал в Бельведере, ведя с ними многочасовые беседы. «Мы пили ночью крепкий чай, сквозь окна видели старые деревья, кругом была полная тишина, как в старинном имении», — рассказывал мне Философов. Савинков восхищался личностью Пилсудского. Философов до самой смерти говорил о Пилсудском как о гениальном человеке (хотя не думаю, что считал правильным каждый его политический шаг) и сохранил более чем глубокую признательность маршалу за лояльное отношение к тем русским эмигрантам, которым тот доверял и которых какое-то время привлекал к своей восточной

политике. После перехода Савинкова в Россию (1924), ареста его в Москве и смерти на Лубянке (убийства или самоубийства?), Философов стал в межвоенный период наиболее крупным и наиболее тесно связанным с Польшей представителем русской политической эмиграции.

Случилось так, что уже в эти первые годы независимой Польши я и моя сестра Мария Чапская находились в постоянном контакте с Философовым. Он сыграл большую роль в нашей личной жизни, открывал нам горизонты мысли, руководил нами. Наши отношения, которые не прерывались до самой его смерти, не имели ничего общего с его политической работой, с полностью исчерпывавшим его силы трудом по редактированию газеты, которая неоднократно конфисковывалась польской цензурой и подвергалась резким атакам правой и левой русской эмиграции и которая сумела выжить в неимоверно трудных, все более, как казалось, безнадежных материальных условиях. Отношения с нами были для Философова в определенном смысле, пожалуй, одной из возможных для него в то время отдушин. Он не просто отдавался своей работе — она его пожирала.

В России Философов уже перед I Мировой войной был известным эссеистом, основателем, вместе с Дягилевым, «Мира искусства», затем Религиозно-философских собраний (вместе с Мережковскими, Розановым, Минским и Карташовым); дружил с Блоком, Розановым, Шестовым, Белым, Ремизовым. Он был человеком исключительным — не только по интеллекту, но и по масштабу личности. Последний, польский период жизни Философова был наиболее важным и действительно героическим. Он писал для «Свободы» прекрасные статьи, разительные памфлеты, фельетоны на различные темы в области культуры и искусства, вел политическую полемику. Случалось, в день писал по три статьи!

А сколько было глубоких, далеких от всякой банальности статей о Польше. В 1939 г. был подготовлен к изданию сборник этих статей на польском языке (в переводах Марии Домбровской, Станислава Стемповского, Марии Чапской и др.) — материалы этой книги *погибли* в вихре войны.

Несколько сотен писем Философова, которыми располагали моя сестра и я и которые мы берегли как зеницу ока, погибли все. Приходится предположить, что и подшивки «Свободы» и «За свободу» (так называлась газета после одной из конфискаций, затем называлась «Меч») тоже погибли. Несмотря на долгие старательные поиски, редактор

«Культуры» до сих пор на их след не напал^[2]. Я глубоко уверен, что утрата политико-литературного наследия Философова тех лет является невосполнимой для культуры, а прежде всего для историков и исследователей русской эмигрантской литературы того времени и до сих пор не изученных и *почти забытых польско-российских отношений этого периода*.

Именно в эти первые годы независимости, часто приезжая в Варшаву из Кракова, где я жил с 1921 г., я почти ежедневно видел Философова, слышал от него рассказы о его с Савинковым посещениях (иногда совсем недавних) Бельведера. Он также говорил мне, нечасто и кратко, о своих трудностях и даже о подпольной политической работе, о тяжелых конфликтах... Почему? Наверное, он доверял мне (и это доверие я никогда не обманул), а может быть, и потому, что я жил вне круга его деятельности. Газету «Свобода» я всегда читал внимательно.

*

В 1921 году я увидел в «Свободе» приведенное выше неподписанное письмо, которое печаталось как письмо коммуниста из Москвы. Это письмо настолько меня поразило, что я спросил Философова, кто может быть его автором. И Философов (помню как сейчас) ответил: «Представь себе, что это письмо Ленина, оно попало к нам, перехваченное по дороге!» Я не спрашивал, с какой тактической целью это письмо напечатано и кто и как его перехватил; это было время, когда множество различных агентов, полуагентов и двойных агентов различных разведок тайно и полуоткрыто курсировало между большевицкой Россией и западным миром. Как это письмо попало в «Свободу», не знаю — единственное, что помню определенно, это слова Философова: «Представь себе, что это письмо написано самим Лениным!» Эти слова, судя по самой интонации, которую я словно до сих пор слышу, были произнесены не как предположение, но с полной уверенностью. Причем я никогда не слышал из его уст легкомысленной передачи какой-либо информации, не говоря уже о фактах и событиях, связанных с его политической работой. Он взвешивал каждое слово, исключая всякую двусмысленность. Содержание этого письма я не раз вспоминал позже. А первое предложение о желании вернуться к научной работе или фразу о «мягкотелости» русского рабочего и крестьянина запомнил почти дословно. Но с течением лет уже не был уверен, не произошло ли невольной аберрации памяти.

*

Жан Лалуа (Lalou), французский дипломат и многолетний руководитель восточного отдела Quay d'Orsay^[3], в конце прошлого года издал книгу «Le socialisme de Lénine» (Desclee de Brouwer, 1967). В этой книге, насыщенной текстами самого Ленина, Лалуа со страстью политического историка и добросовестного психолога пробует пробиться к живому Ленину. Меня особенно заинтересовали тексты, в которых можно ощутить сомнения Ленина, касающиеся дальнейшей тактики, сразу после польской войны и в период нэповской «передышки», — следы его разочарований и раздумий, не должна ли быть изменена линия большевицкой партии и была ли эта линия верной. Я написал автору после прочтения книги и упомянул о приписываемом Ленину письме 1921 года, цитируя его по памяти. Лалуа ответил, что очень бы хотел это письмо прочесть. Я написал, что редактор «Культуры» много лет безрезультатно разыскивает подшивки «Свободы» — газеты, в которой напечатано письмо. Весь комплект подшивок «Свободы» из большой русской библиотеки в Париже был вывезен в Германию за несколько недель до изгнания немцев — и там *погиб*.

Но вот недавно друг нашего журнала обнаружил в одной американской библиотеке несколько номеров «Свободы», в том числе и с упомянутым письмом, и прислал нам фотокопию!

*

Некоторые тексты и цитаты в книге Лалуа тесно связаны с проблематикой письма.

Ленин пишет в январе 1921 г.: «Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо горькой истине. Партия больна. Партию треплет лихорадка»^[4].

В июле 1921 г. Ленин начинает маневр поворота к новой экономической политике — нэпу. Он решительно настроен на этот маневр, а для этого необходимо безусловно сохранить целостность и единство партии, ибо только партия с железной дисциплиной сможет, когда вновь возникнут соответствующие условия, *снова принять курс на социализм*.

В мае того же года Ленин пишет: «Мы окружены всемирной буржуазией, караулящей каждую минуту колебания, чтобы вернуть „своих“, чтобы восстановить помещиков и буржуазию. *Мы будем держать меньшевиков и эс-эров, все равно как открытых, так и перекрашенных в „беспартийных“, в тюрьме*»^[5] (разрядка моя. — Ю.Ч.).

Там же Ленин уточняет, что задача партии — «учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, *не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства*»^[6] (разрядка моя — Ю.Ч.).

Письмо из «Свободы» написано в июне того же года! Оно отличается по тону от приведенных выше цитат из написанной в мае статьи. Как так? В мае Ленин хочет держать в тюрьме социалистов и эсеров, а в июне хочет вести переговоры с заграничными социалистами? Но это не первое и не последнее противоречие в текстах Ленина. Следует помнить, что опубликованное в «Свободе» письмо — это письмо *частное*, даже тайное, к беспартийному другу дореволюционных времен. Это Ленин интимный, пишущий более искренне, не скрывающий колебаний, без следов не только демагогии или пропаганды его полемических, а часто хищных статей и выступлений, но и даже без стремления навязать свою концепцию, — Ленин, не известный широкому кругу^[7].

Лалуа, сопоставляя даты и цитаты, пишет: «С момента, когда необходимо было снова привести в движение частную инициативу посредством возврата к индивидуальной заинтересованности прибылью не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности и торговле, почему было бы не смягчить железную дисциплину, ввести местное самоуправление, не сотрудничать с небольшевицкими социалистическими партиями или хотя бы с их деятелями?»^[8]

И приводит при этом текст Ленина, написанный пятью месяцами позже, в ноябре того же года, который кажется попыткой ответить на вопросы Лалуа и продолжает мысли, содержащиеся в письме из «Свободы»:

«Спрашивается: если, испытав революционные приемы, вы признали их неудачу и перешли к реформистским, то не доказывает ли это, что вы вообще революцию объявляете ошибкой? Не доказывает ли это, что не надо было вообще с революции начинать, а надо было начать с реформ и ограничиться реформами?»

«Ответ менее ясен, чем вопрос, — пишет далее Лалуа. — Не надо, говорит Ленин, привязываться к Революции „с большой буквы“. Революция может использовать реформистские средства, лишь бы в результате „выйти из войны“ (Брестский

мир) и создать „диктатуру пролетариата” (разгон Учредительного собрания). Экономический прогресс придет, если «„коммунисты” переделаются сейчас в „торговцев”»^[9].

*

Я привел несколько текстов Ленина из книги Лалуа, потому что, как мне кажется, они характеризуют мысли и настроения Ленина в 1921 г., когда и было написано опубликованное в «Свободе» письмо. Подлинное ли это письмо Ленина или апокриф, пусть решают «искушенные в Писании».

1968

*

* *

Необходимо довольно подробно объяснить, как и почему публикуемое ниже письмо оказалось на страницах «Культуры».

Оно было впервые напечатано 21 июля 1921 г. в Польше, в русской эмигрантской газете «Свобода»; на письме обозначена дата (июнь 1921, Москва), вместо подписи буква N. Не будучи советологом, могу лишь привести не слишком объемную, но для меня абсолютно убедительную информацию, что это письмо, перехваченное по дороге, якобы является письмом Ленина. Вот это письмо^[10].

Письмо печатается с сохранением некоторых особенностей пунктуации. — Пер.

1. Письмо печатается с сохранением некоторых особенностей пунктуации. — Пер.
2. Довольно полный комплект газеты, в том числе номер от 21 июня 1921 г., по которому и приводится письмо, хранится в Отделе русского зарубежья (бывшем «спецхране») Российской государственной библиотеки. — Пер.
3. Лалуа в 1944 году был переводчиком де Голля во время его встреч в Москве со Сталиным.
4. Ленин. Кризис партии. 19 января 1921. Соч., т.42, с.34. (Тексты Ленина приведены Чапским в переводе с французского; тексты и источники уточнены. — Пер.)

5. Ленин. О продовольственном налоге. Май 1921. Соч., т.43, с.240–242.
6. То же, с.211.
7. Наверное, в закрытых фондах в Москве, к которым имеют доступ только редкие коммунистические советологи, есть и больше такого рода или близких по тону писем и фрагментов. По одной из версий, разоблачение Синявского произошло потому, что в романе «Любимов» используется несколько предложений из Ленина — из тех закрытых фондов, к которым Синявский какое-то время имел доступ.
8. Лалуа, с.234.
9. Лалуа, с.236–237.
- 10.

ФИЛОСОФОВ И ЧАПСКИЕ

В декабре 1918 г. очень высокий, худой юноша бродил по Петрограду. Он был небрит, в грязной одежде. Свою миссию он считал законченной. Убедившись, что пятерых своих товарищей из Креховецкого уланского полка он уже не найдет, что их расстреляли, он ждал возможности вернуться в Варшаву, в Академию изящных искусств. У него были поддельные документы. На улицах можно было встретить пьяные патрули, такие, как из «Двенадцати» Блока, и даже Христа «в белом венчике из роз».

Он шел в гости на Сергиевскую улицу, в дом 83. Поднимаясь по лестнице, он внимательно глядел на двери. Увидел табличку с надписью «Мережковский». Юноша, конечно, читал его книги, в которых автор стремился примирить христианство и языческие традиции, читал его роман о Юлиане Отступнике и монографию о Леонардо да Винчи.

У двадцатидвухлетнего Юзефа Чапского, стоявшего перед дверью, за которой жил «триумvirат» (Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Философов), за плечами было решение уйти из армии (с точки зрения командования — дезертирство), несколько месяцев жизни в Петрограде вместе со своими сестрами Карлой и Марией и с братьями Марыльскими — Антонием и Эдвардом. Верой и примерной жизнью в согласии с Евангелием он жаждал внести гармонию в мир.

Чапский испытывал некоторую тревогу: в идее непротивостояния злу насилием, идее христианского анархизма, он был в высшей степени уверен, но ему не хватало противника.

«Я отважился и позвонил. Открыл сам Мережковский, словно какой-то жрец экзотической религии, в черном бархатном плаще с меховым воротником (это был плащ жены). В квартире холодно, нету угля» (М. Czapska. Czas odmieniony. Paryż, 1978).

В то же самое время Философов записывал в дневнике: «Ужина нет. Холодный самовар. Чай без сахара. Квартира не убрана. Чехлы. Навалены книги, брошюры. Неуютно. Зато у подъезда нет сыщиков. На улице не весело. Темнота. Безлюдье. Более богатые дома — стоят пустые. На Сергиевской почти все уехали.

Кой-где редко-редко виден свет. Покинутый город. Мрачный, с испуганной душой» (Дмитрий Философов. Дневник. Публикация Б.Колоницкого // Звезда, 1992, №2).

Хозяин («хрупкий, седеющая бородка, светлые, широко раскрытые глаза с выражением детского доверия») впустил гостя, сел на стол и спросил, что его сюда привело.

Чапский начал без лишних вступлений:

— Я толстовец, не могу убивать, но как реагировать на то, что происходит в мире? Как примирить Евангелие и военное насилие?

— Зина, Зина! Это очень интересно! — оживился Мережковский.

Начался монолог писателя, убеждавшего молодого поляка, что нужно взять за мир ответственность, даже приняв на себя грех. Рассказал легенду о Касьяне и Николе.

«Оба шли на небо в белых одеждах вдоль грязной дороги и встретили мужика, который со своим волом увяз в этой грязи и звал на помощь. Касьян прошел мимо, а Никола не выдержал, помог вытащить телегу и весь перемазался. Так они дошли до неба. Святой Петр впустил их на суд Божий, а Бог сказал Касьяну: — У тебя одежды незапятнанные, и будет тебе праздник раз в год, да и то в високосный, значит, раз в четыре года, 29 февраля. А ты, Никола, забыв про свои одежды, спасал ближнего, поэтому у тебя будет праздник четыре раза в году» (М.Czapska, цит. соч.).

Мережковский задал Чапскому читать Достоевского, Ницше и Розанова — надо признать, довольно опасное чтение для юноши, до сих пор возраставшего на толстовском идеализме. И особенно Розанов принуждал отвергнуть простое «мировоззрение» в пользу нескончаемых поисков — поисков как истины, так и средств ее выражения. Дневники Чапского в каком-то смысле напоминают книги Розанова, включая цитаты из чужих текстов, переключку слова с образом, а главное — краткие записи, заключающие в себе мгновение.

Как святые из притчи, так и с трудом сближавшийся с христианством мистик Розанов с тех пор сопутствовали Чапскому до конца жизни. Но из тех троих, с кем он тогда познакомился, сопутствовал ему не сам Мережковский и не Гиппиус, а тот третий. Приходя на Сергиевскую через день, чтобы вести жаркие споры о рекомендованных ему авторах, о

Боге и революции, Чапский в конце концов встретил Философова. Тот не был так склонен к разговорам о душе. «Он наблюдал за мной, — вспоминал Чапский, — и ставил конкретные вопросы: о Мицкевиче в Париже, о роли поляков в 1848 г., а я мало что мог ему рассказать, и он махнул на меня рукой» (М. Чапская, цит. соч.).

В январе 1919 г. Чапский уехал в Польшу. Через год он получил внезапную телеграмму из Минска: Философов, Мережковские и их секретарь Владимир Злобин бежали из России, перешли линию фронта и просят помощи. В ответ он послал письмо, полное восхищения Пилсудским. В середине февраля они приехали через Вильно в Варшаву, где Чапский снял для них комнаты в гостинице «Виктория» на Королевской улице. Мережковский читал лекции, Гиппиус боролась с пробуждающейся в ней привязанностью к Борису Савинкову, а Философов монтировал антибольшевицкое движение вместе с этим бывшим эсером-террористом, недавно прибывшим в Польшу. В темных комнатах «Виктории» беженцы пили «черный, как ночь кофе, так чудесно раздобытый Юзефом Чапским, — мы пили и писали. Никто не уставал. Мы осознавали, что это были исторически кульминационные месяцы» (из дневника Д. Философова, 14-16 марта 1922, цит. по: Джон Стюарт Дюррант. По материалам архива Д. М. Философова // Лица. Биограф. альманах, вып. 5, 1994). Благодаря Чапскому и Болеславу Веняве-Длугошовскому состоялась встреча Мережковского с Пилсудским.

В разговорах с Чапским Философов, разумеется, делал замечания просветительного характера. Ученик так хорошо их запомнил, что почти сорок лет спустя процитировал в очерке об Августе Замойском: «Я постоянно читаю ваши газеты, и меня одно поражает: в них почти нет литературных аллюзий или цитат, как будто у вас вовсе нет литературы, — кроме одной-единственной цитаты, которую зато повторяют до изнеможения: „Не время думать о розах, когда пылают леса”» (J. Czapski. Rozproszone. Teksty z lat 1925-1988. Warszawa, 2005).

Положение четверых русских беженцев в Варшаве было шатким, особенно когда в мае 1920 г. началось советское наступление. Чапский («милый Чапский», как пишет в своем дневнике Гиппиус) предложил им поехать в имение Морды на Подлесье, к Пшевлоцким (сестра Юзефа Карла недавно вышла замуж за Генрика Пшевлоцкого). Он прибавил, что сирень уже цветет. Мережковский был счастлив: «Какая роскошь, там соловьи». Философов отреагировал резко, вскочил и со слезами на глазах воскликнул: «Не хочу никаких соловьев и никакой

сирени, слишком много крови я видел в России» (J.Czapski. *Wyrwane strony...* Запись от 8 июля 1965). Чапский не ожидал такой вспышки от человека, как ему казалось, уравновешенного, даже холодного. «В этот момент я его полюбил, за эту мгновенную реакцию», — вспоминал он (J.Czapski. *Swiat w moich oczach. Rozmowy przeprowadzi? P.Kloczowski. Zabki* — Paris, 2001). Философов остался в Варшаве, «на ночном столике у него всегда лежал яд» (там же). Он бывал с Савинковым, а потом и один в Бельведере на долгих совещаниях. Чапскому он рассказывал: «Мы пили ночью крепкий чай, в окна видели старые деревья, вокруг была полная тишина, как в старом поместье» (Цит. по: J.Czapski. *Czy list Lenina?* // J.Czapski. *Rozproszone...*).

Трое гостей в Мордах были, кстати, довольно докучливы. Мережковский, как только вошел, принялся переставлять мебель, организуя пространство по собственным замыслам и потребностям. Между тем за окнами перекатывался фронт, а Карла ждала первого ребенка. Они оставались там несколько недель, писали брошюры. «Вся семья Чапского, его сестры — это особая прелесть», — записала Гиппиус (З.Гиппиус. *Собрание сочинений. Т.9. Дневники. 1919–1941. Публицистика. Воспоминания современников. М., 2005*).

После подписания польско-советского мирного договора Мережковские со Злобиным уехали в Париж, обиженные на Пилсудского за то, что он прервал крестовый поход против большевиков. Предал. «Нет, этого паука мне не проглотить», — говорил Дмитрий Сергеевич (J.Czapski. *Merezkowscy i Filozofow w Polsce. Monolog zapisany przez A.Mietkowskiego* // *Puls*, 1993, №1.).

Философов ненадолго уехал из Варшавы. Из Югославии он писал Чапскому, что в Польше он по крайней мере делал «то, что хотел, а не то, чего ему хотелось». Поэтому вернулся, как только это стало возможно, и вместе с Савинковым взялся издавать газету. Она называлась «За Свободу!». «Сто раз предпочел бы иметь дело с Чапским, а тут надо заниматься политикой, и приходится с Савинковым» (J.Czapski. *Wspomnienia*). Не кому иному, как Чапскому, доверит Философов редакционную тайну: опубликованное в 1921 г. в его газете анонимное письмо большевика эмигранту, свидетельствующее о кризисе революции, — это перехваченное частное письмо Ленина. Чапский же стал свидетелем подавляемого «расслабления», которого так старался избежать Дмитрий Владимирович. Он много раз вспоминал эту сцену, но наиболее полно описал ее в дневнике в 1965 г., когда ему попало в руки стихотворение Осипа Мандельштама:

Прозрачная весна над черною Невой

Сломалась, воск бессмертья тает.

О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,

Твой брат, Петрополь, умирает

В стихотворении, написанном в 1918 г. (тогда, когда Чапский постучался в дверь квартиры на Сергиевской), есть и голодающий, изнасилованный город, и обрывок поэтической легенды — зеленая звезда из стихов Александра Блока: «И ангел поднял в высоту / Звезду зеленую одну». Но и варшавские обстоятельства прочтения незаурядны: «Сколько уже лет назад читал мне это Димка на Сенной в Варшаве! Вижу его в его крохотной комнате, на старом просиженном диване, под свисающей с потолка лампочкой (1923 год?), после целого дня тяжелого труда в редакции. И это стихотворение перед ним на столе. Оно дошло тогда к нему из России нелегальным путем. Еще вижу его подавляемое волнение, голубые, почти белые глаза, и слушаю эти стихи с четырехкратным повтором: „Твой брат, Петрополь, умирает”» (J.Czapski. Wyrwane strony. Запись от 8 июля 1965).

В 1924 г. Савинков перешел границу советской России, был схвачен и посажен. В тюрьме он покончил с собой. Чапский тогда уже был в Париже с группой товарищей-художников, вскоре к нему должна была присоединиться сестра Марыня. Перед выездом он успел опубликовать в «За свободу!» свое первое эссе (Ю.Чапский. О Молодой Польше // За свободу!, 1923, №3. Перепечатка: Новая Польша, 2008, №9) — о Выспянском и Бжозовском, где, памятуя разговор трехлетней давности, процитировал «Лилию Венеду» Словацкого: «Не время думать о розах...»

Из Парижа в Варшаву и обратно шли письма, до нас не дошедшие. До войны их собралось несколько сот. Философов также каждую неделю высылал Чапскому газеты и вырезки, чтобы тот не терял контакта с польской действительностью. Он очень уговаривал обоих ехать в Париж (Марыня получила стипендию на изучение Мицкевича), дал рекомендательные письма (в частности к Алексею Михайловичу Ремизову, о котором Чапский написал много лет спустя), но, когда они уже были там, он волновался, как бы они не остались в эмиграции, и советовал не погружаться в русскую среду. «Вам повезло, у вас свободная страна», — напоминал он. Это в меру деликатная форма его навязчивого страха, который не раз выражался в кассандровских предсказаниях гибели свободной Польши, в

критике легкомыслия ее верхов, в уважении к институту с трудом построенного государства. Он предостерегал, что Речь Посполитая может стать «придатком Советской России, притом придатком отнюдь не чрезвычайным» (M.Czapska. *Pamiętniki Wacława Lednickiego* (1963) // M.Czapska. *Ostatnie odwiedziny i inne szkice*. Warszawa, 2006). Мария Чапская вспоминает, что они с пренебрежением относились к этим пророчествам. «Кассандра! — говорили мы. — Пессимист».

Напоминания, выговоры. Печальные воспитательные методы применял Дмитрий Владимирович, но Чапские смиренно их принимали; он до конца остался для них обоих «учителем» 1, самым главным из тех, кого они встретили в жизни, тем, кто учил, как быть самим собой, не впадая в эгоизм.

В 1928 г. Чапский опубликовал в «Вядомостях литератцких» призыв создать Товарищество имени Станислава Бжозовского, с тем чтобы издавать его сочинения. Из этого ничего не вышло. «Думаешь, так защищают память писателя? — говорил Философов. Написал три слова и снова уезжаешь в Париж?» (J.Czapski. *O Stanisławie Brzozowskim* (1963) // J.Czapski. *Patrzac*. Kraków, 1983).

Философов жаловался на отсутствие религиозной мысли в Польше, но, с другой стороны, не споры (как в петербургские времена) казались ему важнее всего, а просто глубокая религиозная практика. Чапского он упрекал в том, что тот читает мистиков, когда «мистику надо делать, а не читать о ней» (J.Czapski, *Wyrwane strony*. Запись от 27 мая 1965). Марыня, по его мнению, с одной стороны, ограничена разумом, который не позволяет ей верить в церковные догмы, а с другой — поддается иррациональным склонностям, верит в лекарственную силу травок и березового чая. Он делал ей выговоры и как литератору, указывая фактические ошибки, а главное — поэтичность в стиле Марии Родзевич. Хотел же он вырастить ее трудолюбивой пчелкой, одновременно утверждая, что она должна отбросить научные претензии, потому что для науки она слишком наивна.

Войцех Карпинский в «Портрете Чапского» пишет, что история помогла Юзефу справиться с балластом семейных традиций. Этот балласт тревожил и Философова. В тридцатые годы он считал, что Марыне это удалось не до конца, что гены баронов Мейендорфов по-прежнему определяют ее кругозор. У него самого был схожий опыт, давным-давно ему пришлось преодолеть не только дух отца — главного военного прокурора, но и противоречие, существовавшее между родителями. Мать его была первой русской феминисткой и демократкой, у нее в

салоне бывали писатели, например Достоевский, а в то же время те, кого приглашал ее муж. Много лет спустя Дмитрий Владимирович вспоминал: «Мне приходилось встречать людей после многолетней тюрьмы. Она накладывает на своих клиентов (я говорю, конечно, о политических) особый отпечаток. Что-то от „zakonnikow” [монахов]. Размеренные движения, отсутствие торопливости» (Д.Философов — З.Добровольской. Отвоцк, 10 июля 1937. Из собрания Божены Микуловской).

Философов ставил перед Марыней и Юзефом трудные задачи. Тем не менее, как он писал Марии Домбровской, он считал, что «Чапские материалы очень **хороший**, и стоит над ним работать. В них есть большая доля **наивности**, но эта наивность порядка, так сказать, „гениального”, а не от дефекта ума. Это наивность **детской** доверчивости, вообще детской непосредственности. Они способны поехать убеждать папу римского, чтобы он переехал в Прушков, а Сталина, чтобы закрыл Г.П.У. Но ведь это проделывал Мицкевич, это же было у Жеромского, несмотря на всю его суровость. Их высокий внутренний аристократизм, их потрясающая бессребренность (живут как птицы небесные!), их свобода от „конвенциональностей” [условностей] меня преисполняют к ним глубоким уважением. В них есть какая-то „серафичность” Франциска Ассизского. Я, как-никак, эмигрант, а им нужны поляки. А в Польше им очень трудно найти подходящих поляков. Недаром они прожили 5 лет в Париже!» (Явоже, 12 сент. 1930. Особое собрание Библиотеки Варшавского университета).

Можно сказать, что в тридцатые годы Чапский был одним из ближайших сотрудников Философова. Мы знаем, что он исполнял роль связного между Дмитрием Владимировичем и Марианом Здеховским, а насколько существенен был диалог этих двух мыслителей, свидетельствуют недавно опубликованные письма (Здеховский — Философову // Новая Польша, 2008, №10). 12 сентября Чапский делал доклад в Литературном содружестве, И. как можно судить по обширному отчету в «За Свободу!» (1931, 15 дек.), учителю доклад пришелся по вкусу.

Встречи Литературного содружества, на которых бывали польские писатели, стали своего рода предисловием к вечерам в «Домике в Коломне», более элитарном польско-русском клубе. Он действовал по инициативе Философова с 3 ноября 1934 до февраля 1936 года. В состав «руководства» входил Чапский, он же прочитал там первый доклад — «Башня из слоновой кости и улица». Притом это было сразу после

выговора, который он получил от Философова в связи с «Газетой артистов» («Газетой художников»). В августе 1934 г. вышел напечатанный на ротаторе анонс будущей газеты без указания состава редакции.

Передо мной лежит экземпляр (из собрания Божены Микуловской) с адресованными Марии Чапской приписками от брата и от художника Яна Цибиса. Первый уговаривает ее написать «кусачую статью», а Цибис называет журнал «скорострельной пушкой». И все эти залихватские похвалы вместе с довольно туманной программой попали в руки Философovu. Его письмо Чапскому по этому поводу состоит из двух частей: одна названа «Удивление», вторая — «Огорчение». В первой части он, в частности, пишет: «Я привык думать, что „chlorcy“, как ты выражаешься (не забудь, им 40 лет) относятся с уважением к своему творчеству, к искусству, к художнику, к живописи. Ян очень строг в этой области, и честно относится к своей работе живописца. Почему же такое **нечестное** отношение к Слову, к мысли, к общественной работе? Почему написать „два яблока с грушей“ требует известного „аскетизма“, громадной работы, „мук творчества“, а издавать журнал — можно с легкостью, а писать программу можно „сняв штаны“?»

Последние слова — намек на какую-то недавнюю компанейско-художническую эскападу с участием «хлопцев», во время которой Тадеуш Потворовский публично снял штаны. Дальше, в части «Огорчение», Философов насмехается над содержанием проекта: «Что значит „krytyczny obraz ruchu artyst. i umysłowego społcz. życia“ [критическая картина художественного и умственного движения современной жизни]? Кто будет критиковать и с какой точки зрения? Оказывается единственный критерий — это молодость! Кто молод, тот имеет право бороться „с сервизмом“ и „ложными авторитетами“. Больше того, право ругаться предоставлено каждому, „niezależnie od kierunków i sympatii artystycznych“ [независимо от художественных течений и симпатий]. Кто не знает вас, может подумать, что это pismo [периодическое издание] основано специально для „шантажирования“. Помню в Monte-Carlo каждый месяц выходил какой-ниб<удь> „niezależny“ [независимый] орган, такой же **анонимный**, как и „Gaz. Art.“ [„Газета художников“], где „разоблачались“ дела Casino и где приглашались все желающие рулетку разоблачать ее „грызонцом“ [кусачим, прав. «грызонцом»] образом».

Письмо это отправитель сохранил, не послал, что случалось с ним нередко — он упоминает об этом в переписке с Гиппиус,

констатируя, что нервы не выдержали, преувеличил из злорадства. Он знал, каков он есть, раз называл себя (по-польски) «хроническим недовольным». Вдобавок видно, что к старости авангард перестал его интересовать и он, вероятно, не следил за дальнейшей судьбой «Газеты артистов», журнальчика весьма любопытного, но — и тут у Философова была бы причина разъяриться — иногда крайне просоветского.

Неотправленным осталось и письмо от 2 марта 1935 г., куда более личное. Чапский был тогда в Париже, готовил книгу о Юзефе Панкевиче, вернее — об искусстве в целом через взгляды и личность художника.

«Ты жаловался, что ходя с ним (Панкевичем) по Лувру, слушая его суждения о чуждых тебе художниках, ты теряешь связь с ним, не переживаешь, и вообще исчезает чувство интимности, ибо господствует мозг. Кроме того, ты заявил, что хочешь ехать в Италию „варваром“ без культурной подготовки.

Я тогда же ответил тебе, что это меня огорчает, и пояснил почему.

В последнем письме ты мне не писал, что согласился с Панк., что XIX век действительно не на высоте и что, вернувшись домой, ты начнешь работать иначе и т.д.

И я опять огорчился. И понятно почему. В обоих случаях проявляется то же опасное свойство: **пассивность** (galareta! [студень]). Именно из-за этой пассивности, wrażliwości [чувствительности, впечатлительности] я и называю тебя zdrajca [предателем].

Подумав эти дни над этой проблемой, я пришел к некоторым формулам, о чем и хочу с тобой поделиться.

По существу, «переживания» и wrażliwość вещи «нейтральные». Опасность начинается тогда, когда эти переживания и wrażliwość не только вступают в борьбу с сознанием, но и побеждают его.

Ты делаешь всегда ту же самую ошибку. Ты „переключаешь“ свои пассивные переживания в психологию, а не в рассудок, во впечатления, а не в сознание. Ты напрасно не пользуешься уроками, которые дает Марыня. В ней твой недостаток, твой **palog** [порок] принимает форму опасной болезни. Она все время „переживает“, и этими переживаниями хочет купить право на отказ от сознания.

Что же касается тебя, то вот тебе пример опасности переключения всех впечатлений на „психологию”. Я тебе написал, что доклад Стемповского был очень интересен. Ты с удивлением меня спрашиваешь, как это так я согласился с Jerzykom [Ежик — уменьшит. от Ежи]! А вместе с тем, я десятки раз говорил тебе о том, что надо ценить и то, что тебе чуждо (помнишь, я тебе говорил, что я подчеркиваю в книге то, что характерно для автора, а ты лишь то, что соответствует твоим переживаниям)» (из собрания Божены Микуловской).

В этом вопросе Чапский не дал себя переубедить, о чем свидетельствует его собрание цитат — как он их называл, «золотых гвоздей».

Дальше Философов пишет об обоих Чапских:

«Ты не только не борешься с тенденцией Марыни убежать от сознания, но наоборот, поощряешь ее в этом, и приносишь ей большой вред. Когда ты ей написал, что благодаря Панкевичу не имел в Лувре „переживаний”, она прямо воспряла. Начала мне объяснять, что поэтому именно она не может читать статей Бродзинского и Мохнацкого о романтизме („Нет переживаний!!”). А вот когда она стала (якобы!) более интимной с Людвикой Снядецкой, она начала понимать, что такое романтизм. „Мы всегда начинали с конкретного!” Во время твоего отсутствия она всегда говорит „мы”. Иногда я ее спрашиваю, кто это **мы?**»

Марии Чапской предстояло переводить на польский его статьи для запланированного, но не вышедшего избранного (машинопись, по всей вероятности, пропала во время войны), вносить деньги на счет «За Свободу!» и ее продолжения — «Меча»; брат и сестра Чапские бывали у Философова в последние годы его жизни в санатории «Викторовка» в Отвоцке. С начала войны — уже одна Мария. Сохранилась ее записка по-французски, которую она ему оставила, выходя (видно, он задремал): «Tres cher — Je pars a 9 h et 1/4 et te dis au revoir par écrit et baisant tes mains [Дорогой — Я ухожу в 9 1/4 и прощаюсь с тобой письменно и целую тебе руки]» (из собрания Божены Микуловской). Записка датирована 10 июня 1940 го. Тяжело больной Философов поправил «10» на «9», дописал заглавное «М» с восклицательным и вопросительным знаками. Ну да, Марыня опять что-то напутала...

Два года спустя она же взяла принадлежавший некогда ему, православному, римский молитвенник и, пользуясь поддельным пропуском, отнесла его в гетто Корчаку, который просил ее об этом, так как хотел провести богослужение для

детей. После войны Мария Чапская ускользнула из Польши и присоединилась к брату. Писала она всё лучше и лучше, иногда даже сочиняя довольно «кусачие» статьи; в одной из них — «Как не следует писать о святых» — мы находим откровенные реминисценции текстов Философова: «Как надо писать биографии» и «Как не надо учить культуре».

В кругу парижской «Культуры» окажутся целых четверо учеников Философова: Чапские, Ежи Гедройц и самый непослушный из них — Ежи Стемповский.

*

Кто это **мы**?

Вопрос, который задал Дмитрий Философов. Вопрос, который в числе прочих мог одолевать Чапского в лагере, в армии, в Мезон-Лаффите. Вопрос, который возвращается к нам, когда мы читаем то, что осталось записанным от встреч Философова с Чапскими.

Кто это **мы**?

Перевела Наталья Горбаневская

В декабре 1918 г. очень высокий, худой юноша бродил по Петрограду. Он был небрит, в грязной одежде. Свою миссию он считал законченной. Убедившись, что пятерых своих товарищей из Креховецкого уланского полка он уже не найдет, что их расстреляли, он ждал возможности вернуться в Варшаву, в Академию изящных искусств. У него были поддельные документы. На улицах можно было встретить пьяные патрули, такие, как из «Двенадцати» Блока, и даже Христа «в белом венчике из роз».

Он шел в гости на Сергиевскую улицу, в дом 83. Поднимаясь по лестнице, он внимательно глядел на двери. Увидел табличку с надписью «Мережковский». Юноша, конечно, читал его книги, в которых автор стремился примирить христианство и языческие традиции, читал его роман о Юлиане Отступнике и монографию о Леонардо да Винчи.

У двадцатидвухлетнего Юзефа Чапского, стоявшего перед дверью, за которой жил «триумvirат» (Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Философов), за плечами было решение уйти из армии (с точки зрения командования — дезертирство), несколько месяцев жизни в

Петрограде вместе со своими сестрами Карлой и Марией и с братьями Марыльскими — Антонием и Эдвардом. Верой и примерной жизнью в согласии с Евангелием он жаждал внести гармонию в мир.

Чапский испытывал некоторую тревогу: в идее непротивостояния злу насилием, идее христианского анархизма, он был в высшей степени уверен, но ему не хватало противника.

«Я отважился и позвонил. Открыл сам Мережковский, словно какой-то жрец экзотической религии, в черном бархатном плаще с меховым воротником (это был плащ жены). В квартире холодно, нету угля» (М.Czapska. Czas odmieniony. Paryż, 1978).

В то же самое время Философов записывал в дневнике: «Ужина нет. Холодный самовар. Чай без сахара. Квартира не убрана. Чехлы. Навалены книги, брошюры. Неуютно. Зато у подъезда нет сыщиков. На улице не весело. Темнота. Безлюдье. Более богатые дома — стоят пустые. На Сергиевской почти все уехали. Кой-где редко-редко виден свет. Покинутый город. Мрачный, с испуганной душой» (Дмитрий Философов. Дневник. Публикация Б.Колоницкого // Звезда, 1992, №2).

Хозяин («хрупкий, седеющая бородка, светлые, широко раскрытые глаза с выражением детского доверия») впустил гостя, сел на стол и спросил, что его сюда привело.

Чапский начал без лишних вступлений:

— Я толстовец, не могу убивать, но как реагировать на то, что происходит в мире? Как примирить Евангелие и военное насилие?

— Зина, Зина! Это очень интересно! — оживился Мережковский.

Начался монолог писателя, убеждавшего молодого поляка, что нужно взять за мир ответственность, даже приняв на себя грех. Рассказал легенду о Касьяне и Николе.

«Оба шли на небо в белых одеждах вдоль грязной дороги и встретили мужика, который со своим волом увяз в этой грязи и звал на помощь. Касьян прошел мимо, а Никола не выдержал, помог вытащить телегу и весь перемазался. Так они дошли до неба. Святой Петр впустил их на суд Божий, а Бог сказал Касьяну: — У тебя одежды незапятнанные, и будет тебе праздник раз в год, да и то в високосный, значит, раз в четыре года, 29 февраля. А ты, Никола, забыв про свои одежды, спасал

ближнего, поэтому у тебя будет праздник четыре раза в году» (М.Сzapска, цит. соч.).

Мережковский задал Чапскому читать Достоевского, Ницше и Розанова — надо признать, довольно опасное чтение для юноши, до сих пор взраставшего на толстовском идеализме. И особенно Розанов принуждал отвергнуть простое «мировоззрение» в пользу нескончаемых поисков — поисков как истины, так и средств ее выражения. Дневники Чапского в каком-то смысле напоминают книги Розанова, включая цитаты из чужих текстов, перекличку слова с образом, а главное — краткие записи, заключающие в себе мгновение.

Как святые из притчи, так и с трудом сближавшийся с христианством мистик Розанов с тех пор сопутствовали Чапскому до конца жизни. Но из тех троих, с кем он тогда познакомился, сопутствовал ему не сам Мережковский и не Гиппиус, а тот третий. Приходя на Сергиевскую через день, чтобы вести жаркие споры о рекомендованных ему авторах, о Боге и революции, Чапский в конце концов встретил Философова. Тот не был так склонен к разговорам о душе. «Он наблюдал за мной, — вспоминал Чапский, — и ставил конкретные вопросы: о Мицкевиче в Париже, о роли поляков в 1848 г., а я мало что мог ему рассказать, и он махнул на меня рукой» (М.Чапская, цит. соч.).

В январе 1919 г. Чапский уехал в Польшу. Через год он получил внезапную телеграмму из Минска: Философов, Мережковские и их секретарь Владимир Злобин бежали из России, перешли линию фронта и просят помощи. В ответ он послал письмо, полное восхищения Пилсудским. В середине февраля они приехали через Вильно в Варшаву, где Чапский снял для них комнаты в гостинице «Виктория» на Королевской улице. Мережковский читал лекции, Гиппиус боролась с пробуждающейся в ней привязанностью к Борису Савинкову, а Философов монтировал антибольшевицкое движение вместе с этим бывшим эсером-террористом, недавно прибывшим в Польшу. В темных комнатах «Виктории» беженцы пили «черный, как ночь кофе, так чудесно раздобытый Юзефом Чапским, — мы пили и писали. Никто не уставал. Мы осознавали, что это были исторически кульминационные месяцы» (из дневника Д.Философова, 14-16 марта 1922, цит. по: Джон Стюарт Дюррант. По материалам архива Д.М.Философова // Лица. Биограф. альманах, вып.5, 1994). Благодаря Чапскому и Болеславу Веняве-Длугошовскому состоялась встреча Мережковского с Пилсудским.

В разговорах с Чапским Философов, разумеется, делал замечания просветительного характера. Ученик так хорошо их запомнил, что почти сорок лет спустя процитировал в очерке об Августе Замойском: «Я постоянно читаю ваши газеты, и меня одно поражает: в них почти нет литературных аллюзий или цитат, как будто у вас вовсе нет литературы, — кроме одной-единственной цитаты, которую зато повторяют до изнеможения: „Не время думать о розах, когда пылают леса”» (J.Czapski. Rozproszone. Teksty z lat 1925–1988. Warszawa, 2005).

Положение четверых русских беженцев в Варшаве было шатким, особенно когда в мае 1920 г. началось советское наступление. Чапский («милый Чапский», как пишет в своем дневнике Гиппиус) предложил им поехать в имение Морды на Подлесье, к Пшевлоцким (сестра Юзефа Карла недавно вышла замуж за Генрика Пшевлоцкого). Он прибавил, что сирень уже цветет. Мережковский был счастлив: «Какая роскошь, там соловьи». Философов отреагировал резко, вскочил и со слезами на глазах воскликнул: «Не хочу никаких соловьев и никакой сирени, слишком много крови я видел в России» (J.Czapski. Wygwane strony... Запись от 8 июля 1965). Чапский не ожидал такой вспышки от человека, как ему казалось, уравновешенного, даже холодного. «В этот момент я его полюбил, за эту мгновенную реакцию», — вспоминал он (J.Czapski. Swiat w moich oczach. Rozmowy przeprowadzi? P.Kloczowski. Zabki — Paris, 2001). Философов остался в Варшаве, «на ночном столике у него всегда лежал яд» (там же). Он бывал с Савиновым, а потом и один в Бельведере на долгих совещаниях. Чапскому он рассказывал: «Мы пили ночью крепкий чай, в окна видели старые деревья, вокруг была полная тишина, как в старом поместье» (Цит. по: J.Czapski. Czy list Lenina? // J.Czapski. Rozproszone...).

Трое гостей в Мордах были, кстати, довольно докучливы. Мережковский, как только вошел, принялся переставлять мебель, организуя пространство по собственным замыслам и потребностям. Между тем за окнами перекачивался фронт, а Карла ждала первого ребенка. Они оставались там несколько недель, писали брошюры. «Вся семья Чапского, его сестры — это особая прелесть», — записала Гиппиус (З.Гиппиус. Собрание сочинений. Т.9. Дневники. 1919–1941. Публицистика. Воспоминания современников. М., 2005).

После подписания польско-советского мирного договора Мережковские со Злобиным уехали в Париж, обиженные на Пилсудского за то, что он прервал крестовый поход против большевиков. Предал. «Нет, этого паука мне не проглотить», —

говорил Дмитрий Сергеевич (J.Czapski. Merezkowscy i Filosofow w Polsce. Monolog zapisany przez A.Mietkowskiego // Puls, 1993, №1.).

Философов ненадолго уехал из Варшавы. Из Югославии он писал Чапскому, что в Польше он по крайней мере делал «то, что хотел, а не то, чего ему хотелось». Поэтому вернулся, как только это стало возможно, и вместе с Савинковым взялся издавать газету. Она называлась «За Свободу!». «Сто раз предпочел бы иметь дело с Чапским, а тут надо заниматься политикой, и приходится с Савинковым» (J.Czapski. Wspomnienia). Не кому иному, как Чапскому, доверит Философов редакционную тайну: опубликованное в 1921 г. в его газете анонимное письмо большевика эмигранту, свидетельствующее о кризисе революции, — это перехваченное частное письмо Ленина. Чапский же стал свидетелем подавляемого «расслабления», которого так старался избежать Дмитрий Владимирович. Он много раз вспоминал эту сцену, но наиболее полно описал ее в дневнике в 1965 г., когда ему попало в руки стихотворение Осипа Мандельштама:

Прозрачная весна над черною Невой

Сломалась, воск бессмертья тает.

О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,

Твой брат, Петрополь, умирает

В стихотворении, написанном в 1918 г. (тогда, когда Чапский постучался в дверь квартиры на Сергиевской), есть и голодающий, изнасилованный город, и обрывок поэтической легенды — зеленая звезда из стихов Александра Блока: «И ангел поднял в высоту / Звезду зеленую одну». Но и варшавские обстоятельства прочтения незаурядны: «Сколько уже лет назад читал мне это Димка на Сенной в Варшаве! Вижу его в его крохотной комнате, на старом просиженном диване, под свисающей с потолка лампочкой (1923 год?), после целого дня тяжелого труда в редакции. И это стихотворение перед ним на столе. Оно дошло тогда к нему из России нелегальным путем. Еще вижу его подавляемое волнение, голубые, почти белые глаза, и слушаю эти стихи с четырехкратным повтором: „Твой брат, Петрополь, умирает”» (J.Czapski. Wyrwane strony. Запись от 8 июля 1965).

В 1924 г. Савинков перешел границу советской России, был схвачен и посажен. В тюрьме он покончил с собой. Чапский тогда уже был в Париже с группой товарищей-художников, вскоре к нему должна была присоединиться сестра Марыня.

Перед выездом он успел опубликовать в «За свободу!» свое первое эссе (Ю.Чапский. О Молодой Польше // За свободу!, 1923, №3. Перепечатка: Новая Польша, 2008, №9) — о Выспанском и Бжозовском, где, памятуя разговор трехлетней давности, процитировал «Лилью Венеду» Словацкого: «Не время думать о розах...»

Из Парижа в Варшаву и обратно шли письма, до нас не дошедшие. До войны их собралось несколько сот. Философов также каждую неделю высылал Чапскому газеты и вырезки, чтобы тот не терял контакта с польской действительностью. Он очень уговаривал обоих ехать в Париж (Марыня получила стипендию на изучение Мицкевича), дал рекомендательные письма (в частности к Алексею Михайловичу Ремизову, о котором Чапский написал много лет спустя), но, когда они уже были там, он волновался, как бы они не остались в эмиграции, и советовал не погружаться в русскую среду. «Вам повезло, у вас свободная страна», — напоминал он. Это в меру деликатная форма его навязчивого страха, который не раз выражался в кассандровских предсказаниях гибели свободной Польши, в критике легкомыслия ее верхов, в уважении к институту с трудом построенного государства. Он предостерегал, что Речь Посполитая может стать «придатком Советской России, притом придатком отнюдь не чрезвычайным» (M.Czapska. *Pamiętniki Wacława Lednickiego* (1963) // M.Czapska. *Ostatnie odwiedziny i inne szkice*. Warszawa, 2006). Мария Чапская вспоминает, что они с пренебрежением относились к этим пророчествам. «Кассандра! — говорили мы. — Пессимист».

Напоминания, выговоры. Печальные воспитательные методы применял Дмитрий Владимирович, но Чапские смиренно их принимали; он до конца остался для них обоих «учителем»^[1], самым главным из тех, кого они встретили в жизни, тем, кто учил, как быть самим собой, не впадая в эгоизм.

В 1928 г. Чапский опубликовал в «Вядомостях литератцких» призыв создать Товарищество имени Станислава Бжозовского, с тем чтобы издавать его сочинения. Из этого ничего не вышло. «Думаешь, так защищают память писателя? — говорил Философов. Написал три слова и снова уезжаешь в Париж?» (J.Czapski. *O Stanisławie Brzozowskim* (1963) // J.Czapski. *Patrzac*. Krakow, 1983).

Философов жаловался на отсутствие религиозной мысли в Польше, но, с другой стороны, не споры (как в петербургские времена) казались ему важнее всего, а просто глубокая религиозная практика. Чапского он упрекал в том, что тот

читает мистиков, когда «мистику надо делать, а не читать о ней» (J.Czapski, Wygwane strony. Запись от 27 мая 1965). Марыня, по его мнению, с одной стороны, ограничена разумом, который не позволяет ей верить в церковные догмы, а с другой — поддается иррациональным склонностям, верит в лекарственную силу травок и березового чая. Он делал ей выговоры и как литератору, указывая фактические ошибки, а главное — поэтичность в стиле Марии Родзевич. Хотел же он вырастить ее трудолюбивой пчелкой, одновременно утверждая, что она должна отбросить научные претензии, потому что для науки она слишком наивна.

Войцех Карпинский в «Портрете Чапского» пишет, что история помогла Юзефу справиться с балластом семейных традиций. Этот балласт тревожил и Философова. В тридцатые годы он считал, что Марыне это удалось не до конца, что гены баронов Мейендорфов по-прежнему определяют ее кругозор. У него самого был схожий опыт, давным-давно ему пришлось преодолеть не только дух отца — главного военного прокурора, но и противоречие, существовавшее между родителями. Мать его была первой русской феминисткой и демократкой, у нее в салоне бывали писатели, например Достоевский, а в то же время те, кого приглашал ее муж. Много лет спустя Дмитрий Владимирович вспоминал: «Мне приходилось встречать людей после многолетней тюрьмы. Она накладывает на своих клиентов (я говорю, конечно, о политических) особый отпечаток. Что-то от „zakonnikow” [монахов]. Размеренные движения, отсутствие торопливости» (Д.Философов — З.Добровольской. Отвоцк, 10 июля 1937. Из собрания Божены Микуловской).

Философов ставил перед Марыней и Юзефом трудные задачи. Тем не менее, как он писал Марии Домбровской, он считал, что «Чапские материал очень хороший, и стоит над ним работать. В них есть большая доля наивности, но эта наивность порядка, так сказать, „гениального”, а не от дефекта ума. Это наивность детской доверчивости, вообще детской непосредственности. Они способны поехать убеждать папу римского, чтобы он переехал в Прушков, а Сталина, чтобы закрыл Г.П.У. Но ведь это проделывал Мицкевич, это же было у Жеромского, несмотря на всю его суровость. Их высокий внутренний аристократизм, их потрясающая бессребренность (живут как птицы небесные!), их свобода от „конвенциональностей” [условностей] меня преисполняют к ним глубоким уважением. В них есть какая-то „серафичность” Франциска Ассизского. Я, как-никак, эмигрант, а им нужны поляки. А в Польше им очень трудно найти подходящих поляков. Недаром они прожили 5 лет в

Париже!» (Явоже, 12 сент. 1930. Особое собрание Библиотеки Варшавского университета).

Можно сказать, что в тридцатые годы Чапский был одним из ближайших сотрудников Философова. Мы знаем, что он исполнял роль связного между Дмитрием Владимировичем и Марианом Здоховским, а насколько существенен был диалог этих двух мыслителей, свидетельствуют недавно опубликованные письма (Здоховский — Философову // Новая Польша, 2008, №10). 12 сентября Чапский делал доклад в Литературном содружестве, И. как можно судить по обширному отчету в «За Свободу!» (1931, 15 дек.), учителю доклад пришелся по вкусу.

Встречи Литературного содружества, на которых бывали польские писатели, стали своего рода предисловием к вечерам в «Домике в Коломне», более элитарном польско-русском клубе. Он действовал по инициативе Философова с 3 ноября 1934 до февраля 1936 года. В состав «руководства» входил Чапский, он же прочитал там первый доклад — «Башня из слоновой кости и улица». Притом это было сразу после выговора, который он получил от Философова в связи с «Газетой артистов» («Газетой художников»). В августе 1934 г. вышел напечатанный на ротаторе анонс будущей газеты без указания состава редакции.

Передо мной лежит экземпляр (из собрания Божены Микуловской) с адресованными Марии Чапской приписками от брата и от художника Яна Цибиса. Первый уговаривает ее написать «кусачую статью», а Цибис называет журнал «скорострельной пушкой». И все эти залихватские похвалы вместе с довольно туманной программой попали в руки Философову. Его письмо Чапскому по этому поводу состоит из двух частей: одна названа «Удивление», вторая — «Огорчение». В первой части он, в частности, пишет: «Я привык думать, что „chlorsy“, как ты выражаешься (не забудь, им 40 лет) относятся с уважением к своему творчеству, к искусству, к художнику, к живописи. Ян очень строг в этой области, и честно относится к своей работе живописца. Почему же такое нечестное отношение к Слову, к мысли, к общественной работе? Почему написать „два яблока с грушей“ требует известного „аскетизма“, громадной работы, „мук творчества“, а издавать журнал — можно с легкостью, а писать программу можно „сняв штаны“?»

Последние слова — намек на какую-то недавнюю компанейско-художническую эскападу с участием «хлопцев», во время которой Тадеуш Потворовский публично снял штаны.

Дальше, в части «Огорчение», Философов насмехается над содержанием проекта: «Что значит „krytyczny obraz ruchu artyst. i umys?owego wsp?cz. ?ucia” [критическая картина художественного и умственного движения современной жизни]? Кто будет критиковать и с какой точки зрения? Оказывается единственный критерий — это молодость! Кто молод, тот имеет право бороться „с сервилизмом” и „ложными авторитетами”. Больше того, право ругаться предоставлено каждому, „niezaleznie od kierunkow i sympatii artystycznych” [независимо от художественных течений и симпатий]. Кто не знает вас, может подумать, что это pismo [периодическое издание] основано специально для „шантажирования”. Помню в Monte-Carlo каждый месяц выходил какой-ниб<удь> „niezalezny” [независимый] орган, такой же анонимный, как и „Gaz. Art.” [„Газета художников”], где „разоблачались” дела Casino и где приглашались все желающие рулетку разоблачать ее „гризонцом” [кусачим, прав. «грызонцом»] образом».

Письмо это отправитель сохранил, не послал, что случилось с ним нередко — он упоминает об этом в переписке с Гиппиус, констатируя, что нервы не выдержали, преувеличил из злорадства. Он знал, каков он есть, раз называл себя (по-польски) «хроническим недовольным». Вдобавок видно, что к старости авангард перестал его интересовать и он, вероятно, не следил за дальнейшей судьбой «Газеты артистов», журнальчика весьма любопытного, но — и тут у Философова была бы причина разъяриться — иногда крайне просоветского.

Неотправленным осталось и письмо от 2 марта 1935 г., куда более личное. Чапский был тогда в Париже, готовил книгу о Юзефе Панкевиче, вернее — об искусстве в целом через взгляды и личность художника.

«Ты жаловался, что ходя с ним (Панкевичем) по Лувру, слушая его суждения о чуждых тебе художниках, ты теряешь связь с ним, не переживаешь, и вообще исчезает чувство интимности, ибо господствует мозг. Кроме того, ты заявил, что хочешь ехать в Италию „варваром” без культурной подготовки.

Я тогда же ответил тебе, что это меня огорчает, и пояснил почему.

В последнем письме ты мне не писал, что согласился с Панк., что XIX век действительно не на высоте и что, вернувшись домой, ты начнешь работать иначе и т.д.

И я опять огорчился. И понятно почему. В обоих случаях проявляется то же опасное свойство: пассивность (galareta!

[студень]). Именно из-за этой пассивности, wrażliwości [чувствительности, впечатлительности] я и называю тебя zdrajca [предателем].

Подумав эти дни над этой проблемой, я пришел к некоторым формулам, о чем и хочу с тобой поделиться.

По существу, «переживания» и wrażliwość вещи «нейтральные». Опасность начинается тогда, когда эти переживания и wrażliwość не только вступают в борьбу с сознанием, но и побеждают его.

Ты делаешь всегда ту же самую ошибку. Ты „переключаешь” свои пассивные переживания в психологию, а не в рассудок, во впечатления, а не в сознание. Ты напрасно не пользуешься уроками, которые дает Марыня. В ней твой недостаток, твой па??g [порок] принимает форму опасной болезни. Она все время „переживает”, и этими переживаниями хочет купить право на отказ от сознания.

Что же касается тебя, то вот тебе пример опасности переключения всех впечатлений на „психологию”. Я тебе написал, что доклад Стемповского был очень интересен. Ты с удивлением меня спрашиваешь, как это так я согласился с Jerzykom [Ежик — уменьшит. от Ежи]! А вместе с тем, я десятки раз говорил тебе о том, что надо ценить и то, что тебе чуждо (помнишь, я тебе говорил, что я подчеркиваю в книге то, что характерно для автора, а ты лишь то, что соответствует твоим переживаниям)» (из собрания Болены Микуловской).

В этом вопросе Чапский не дал себя переубедить, о чем свидетельствует его собрание цитат — как он их называл, «золотых гвоздей».

Дальше Философов пишет об обоих Чапских:

«Ты не только не борешься с тенденцией Марыни убежать от сознания, но наоборот, поощряешь ее в этом, и приносишь ей большой вред. Когда ты ей написал, что благодаря Панкевичу не имел в Лувре „переживаний”, она прямо воспряла. Начала мне объяснять, что поэтому именно она не может читать статей Бродзинского и Мохнацкого о романтизме („Нет переживаний!!”). А вот когда она стала (якобы!) более интимной с Людвикой Снядецкой, она начала понимать, что такое романтизм. „Мы всегда начинали с конкретного!” Во время твоего отсутствия она всегда говорит „мы”. Иногда я ее спрашиваю, кто это мы?»

Марии Чапской предстояло переводить на польский его статьи для запланированного, но не вышедшего избранного (машинопись, по всей вероятности, пропала во время войны), вносить деньги на счет «За Свободу!» и ее продолжения — «Меча»; брат и сестра Чапские бывали у Философова в последние годы его жизни в санатории «Викторовка» в Отвоцке. С начала войны — уже одна Мария. Сохранилась ее записка по-французски, которую она ему оставила, выходя (видно, он задремал): «Tr?s cher — Je pars ? 9 h et ? et te dis au revoir par ?crit et baisant tes mains [Дорогой — Я ухожу в 9? и прощаюсь с тобой письменно и целую тебе руки]» (из собрания Божены Микуловской). Записка датирована 10 июня 1940 го. Тяжело больной Философов поправил «10» на «9», дописал заглавное «М» с восклицательным и вопросительным знаками. Ну да, Марыня опять что-то напутала...

Два года спустя она же взяла принадлежавший некогда ему, православному, римский молитвенник и, пользуясь поддельным пропуском, отнесла его в гетто Корчаку, который просил ее об этом, так как хотел провести богослужение для детей. После войны Мария Чапская ускользнула из Польши и присоединилась к брату. Писала она всё лучше и лучше, иногда даже сочиняя довольно «кусачие» статьи; в одной из них — «Как не следует писать о святых» — мы находим откровенные реминисценции текстов Философова: «Как надо писать биографии» и «Как не надо учить культуре».

В кругу парижской «Культуры» окажутся целых четверо учеников Философова: Чапские, Ежи Гедройц и самый непослушный из них — Ежи Стемповский.

*

Кто это мы?

Вопрос, который задал Дмитрий Философов. Вопрос, который в числе прочих мог одолевать Чапского в лагере, в армии, в Мезон-Лаффите. Вопрос, который возвращается к нам, когда мы читаем то, что осталось записанным от встреч Философова с Чапскими.

Кто это мы?

Перевела Наталья Горбаневская

Так писал Юзеф Чапский Ежи Тимошевичу (1986). См. J.Timoszewicz. Fi?osofow — Czapski — Stempowski // Kultura, 1998, №4.

1. Так писал Юзеф Чапский Ежи Тимошевичу (1986). См.
J.Timoszewicz. *Filosofow — Czapski — Stempowski* // *Kultura*,
1998, №4.
- 2.

Юзеф Лободовский

СТИХИ

На смерть Суламифи

В Галаадских горах не пасла ты свои стада
и не бегала ты под шатры Кедара.
Твоих дробных следов не видели никогда
в знойном Энгадди среди виноградников старых.
Смуглые пастухи не встречали тебя под вечер,
когда ты проходила через Есебонский овраг.
Но ты была — как корица, ты была — как шафран,
гибкая, как тростинка, в ритме бёдер и плеч своих,
и ликовала волынская тишина деревенская,
и тебя уносила к славянским девам,
о черноволосая их подруга еврейская,
о Шуламмит, Шуламмит,
о Сусанна, о Ева!
Ты проходила по миру, любовью хвораая,
мирры пучок несла ты под грудью юной
и пламенела любовью, стройная мандрагора —
ты, чей живот из нарда, чьи бёдра — латунные.
Словно две серны, пасущиеся за городом,
смотрели на мир твои молодые груди;
губы твои в поцелуях — соты, полные мёда —
мёд и млеко под языком. Казалось, так вечно будет.
Пальмой израильской выросла ты, свободная,

и распустилась плодовым соцветьем алым;
гнулась как пальма, когда крепкий садовник
на гибком стане твоём руки свои сплетал.
Лоно твоё — полной луны колыханье —
было тонко овеяно фиалкой благоуханной.
Но враг тебя одолел — нет тебя в Ливане,
о Шуламмит, Шуламмит, о Шуламмит!
Плачьте, дочери иерусалимские,
раздирайте одежды над Суламифью.
Надругались над ней, поношением неистовым
красоту погубленную покрыв её.
Вышел из бездны ада воин глумливый,
вырвал розы Сарона, вырубил все оливы,
воды Хеврона замутил чистой кровью,
дым пожара раздул над городом ловко,
а тело убитой девы смеха ради, в издёвку
бросил на проволоку,
на колючую проволоку.
Закатилась за тучу луна благоуханного лона,
пересох источник мёда и млека.
Земля огнём прожигает останки плоти,
пыль и плесень — на сомкнутых веках.
Ослепли уста, а взоры оглохли — то есть
Давидову башню и вправду постиг обвал.
Кровь на губах — не мирра, пепел — не алоэ,
в песке истлевают самые ласковые слова.

Щебнем руин завалены пруды в Есебоне,
лилия этих равнин камнями побита давно.
Проткнуты острым копьём уста твои и ладони,
и разбудить тебя юношам не суждено.
Плачьте, дочери иерусалимские,
бросьте ветрам вопли рук ваших скорбных.
Мирра, шафран, и нард, и корица —
в вязкой глине под кручей чёрной.
День языческий, злое, проклятое утро
разметало скирды хлебов, виноградники растоптало,
топорами убийц порублены
кедр, эбен и сандал.
Но красота убиенной
выстрелила из земли потрясённой:
отныне в диких волынских трояндах играет
тёмная кровь,
тёмная кровь Израиля.

Касида о Фатиме

Для гяуров — молитва, черна и угрюма,
по скитам и замков душным покоем.
Нам — Гранада среди кипарисов, как серна юная,
нам — Севилья —
газель над рекой.
Когда выплывет из-за гор луна
и сады соловьями вспенятся,
скользнёт теченья серебряная струна,

зазвучит Гвадалквивир серебряной песней;
от питья густого в резном бокале
ленивую мысль окутает сладкий дурман —
ни снов, ни забот,
ни томительной яви...

Только вино, соловьи и — Фатима.

Для неверных — выжженная вершина,
жёсткий доспех, седло боевое.

Нам, задремавшим в цветущем жасмине, —
закат подложит плечо в изголовье
да ночная бабочка в висок ударит —
блеск любимых очей её приманил;
дробью ладонь рассыплется по гитаре,
грустная песнь родной Аравии зазвенит.

И заблещет в небе шёлковым поясом
Азраила светящаяся дорога —
звёзд пурпурными огоньками покроется,
лазурью сверкнёт серебро луны...

Нет на свете Бога превыше Бога
и нет девушки
прекраснее Фатимы.

Дочь атамана

I

Ночи ветреные и хмурые, армии конные
в походах за дальними реками —
след кровавый в степи по Москве, татарве да ляхам.

Вихрями и пожарами детские очи накормлены,
и прикрыла им веки
косматая казачья папаха.

Вихрь и пожар, с их сухим и тлетворным духом.
Не поймёшь — то ли месяц,
то ли отблеск пылающей головни:
чёрный всадник в дозоре
над мутной рекой Синюхой,
и сверкают оконца
глазами колдуний степных.

А сквозь мрак умирающих вечеров,
отравленных осенней сыростью,
сквозь лай ветра над головой,
как победный бунчук Батяя,
из лязга стали и скрежета буферов,
вооружённый поезд выныривает
и упорно, мерно, под яростный вой
ритм свободы отстукивает на рельсах дорог.

Да только ночь преградила путь,
распростёрлась вокруг, изменница,
роем плывут тоска и забота,
стихает грохот и гул —
а в тёмном вагоне большие глаза ребёнка
от ужаса светятся,
и никому не внушить,
чтоб спокойно принял свою судьбу.

Надо отчаянье задушить, превозмочь,
сердцу кровоточащему покой прописать,
поэтому хмурый вождь
диктует дрожащим клавишам последний приказ —
свист шрапнели, грохочущую железную рать
и багровое зарево поглотила тёмная ночь,
вместо смерти над гетманской головой
неотступно забота парит в этот час.

И уже навсегда впечатались немо
в огромные детские расширенные зрачки
призрак поезда, зарево,
гром, нарастающий глухо,
ночь последней тревоги,
что изменой ударила в побеждённые сном полки,
окровавив отвесное небо
над мутной рекой Синюхой.

А ещё был тот день,
когда Сена в глазах поплыла...

Гроб везли на погост,
бился крик отчаянья безголосый,
и качалась кругом влажная, серая мгла:
ты же помнишь, как ты, шатаясь, шла —
хоронила отца
украинская дева темноволосая...

II

Когда могучие ветры с океана повеют,

срывая с вечных дубрав молодую листву,
и опустится сумрак в синеву Пиренеев,
затрепещет во тьме звезда золотым мотыльком
и украинские ночи тебя позовут,
ароматом фиалок, что до боли знаком.

Белые виллы вдали, словно камешков горсть,
детской ладонью брошенная на склоне диком...
Ослики навьюченные бредут по тропинкам горным,
тёмно-синяя тень, притаившись в ущелье, тает,
в скальных изломах звучит резким эхом крика
суровое дыхание Бискайев.

А над Чёрным морем другой ветер
наполняет лёгкие живительным йодом.

Там, где скалы выветрены тысячелетиями,
а паруса колышут линию горизонта,
край степной поверяет свои красоты
высоким волнам бурлящего Понта.

Не заменить пиренейским ветрам
вольного духа, что веет от Запорожья
хлещет волной и жжёт, как пожаром:
есть в нём вкус походов, в которых отравлены
горечью поражения степи и бездорожья...

Не заменить звёздам, сверкающим над заливом,
полтавских и аккерманских звёздных ковров:
когда горное эхо вторит шагам тоскливо,
слепой орлёнок пищит в расселине узкой,

а где-то мерцают туманные призраки городов
и манящим плеском на пляже волна умирает, —
тогда видение Украины смутное пролетает
над белыми городами французскими.
Исчезают во мраке отвесные склоны гор,
и тишина ночная голосами вооружается,
вскипает шумной волной неотлучный хор,
вновь тоску приближая
признаньями горькой печали
и, как прилив, спадает на мрак Бискайев
отчизна, призванная из дальней дали.

III

Бледные губы жар прожигает,
не хватает воздуха лёгким,
над белизной изголовья склоняясь,
слушает дыхание озабоченный врач.
В который раз виноград на террасах
славу поёт весне обновлённой?
Только ты, буйная весна украинская,
медлишь где-то и ждущих дразнишь!
А на севере сонном опять во мглу
нырнул Монпарнас —
в высоте дремлет буря,
не сотрясает древка знамён сердито,
жаркий вихрь свободы к земле припал и погас,
перепутались травы, брошенные под копыта.

Только он, только ветер, в украинской степи зачатый,
ветер, звонивший в оконные стёкла,
с воем бившийся под колёсами,
тот, что нёс бряцанье оружия
и в волчьи зенки заглядывал,
только он исцелит
твои обожжённые лёгкие.

Смотри: уже исчезает край, прильнувший
к стопам Пиренеев,
в тучах ворон застыли мрачные тополя,
а в песне степная звучит задушевность —
над головой уснувшей
длинные пряди раkitника реют,
и подплывает к твоим очам родная земля,
о украинская степная царица!

Газель о ней

Белое знамя — в Кордове,
чёрное знамя — в Багдаде.
И всё те же слова скорби.
Умирающему — что надо?
Только знать, что не срубят деревьев, которые он посадил,
и никто не нарушит ночью межи
в поле, что он оросил.
Что никто не подложит факел под дом,
где родился он,
и его сыновья, и сыновья сыновей.

И что даже самое малое дело его
станет зерном
и когда-нибудь зазеленеет.
И всё-таки,
всё-таки что-то большее ему нужно...
Чтобы память о нём взяла в свои руки нежные
та, возле которой пылал он пожаром.
Чтоб у его изголовья
в вечерней ночи, где рассвет никогда не забрезжит,
вырос политый её слезами
жасмин,
которого не сажал он,
политый слезами её
в безутешной скорби...
Чёрное знамя — в Багдаде,
белое знамя — в Кордове.

Газель белым стихом

Хотел бы я отворить кинжалом сердце моё
и впустить тебя в него,
и подождать, пока рана затянется,
чтоб ты осталась в ней, как в гареме.
Как сосуд с благовонным маслом,
как дароносица,
где неверные прячут своего Бога,
как шкатулка с золотом,
в землю закопанная.

Но не могу...

Но не могу, ибо сердце моё слишком мало,
сердце моё
поместилось бы
в сжатой твоей ладони,
в ладони, чьи пальцы я не хочу целовать,
чтобы не занялись огнём,
которым я сам пылаю.

Наталья Галчинская

Голос тёмного, венецианского стекла,
кровь — вино кахетинское — пенилось в жилах,
в глазах — тайный блеск, как у горного барса,
а когда она шла,
прохожие ей почти аплодировали,
ибо каждым движеньем она доказывала,
что знает секрет красоты кавказской.

А секрет — вот какой:

когда женщина ляжет крутым холмом, на бедре,
кошка должна без труда пробежать под талией —
при виде этого веселей поют райские птахи
и солнце светит ещё щедрей,
золотом осыпая лицо Натальи.

То, что она была женщиной, никуда не годится,
лучше — львицей
или гирканской тигрицей.

Помнишь, как в Анине перед войной бывало?

Звёзды златоволосые, тополя сребролистые
и всегдашняя мука — ветер с Вислы —
а он обещал, что вернётся, даже когда к нему смерть пожалует,
«и по люблинскому шоссе опять тебя понесёт на руках!»
Вот и эти стихи, произносимые благоговейно,
тоже пусть пред тобою падут во прах!
Всё, что Константы любил, до последнего вздоха
он хотел уберечь от забвенья.
Злая мачеха — мрачная наша эпоха —
время всепоруганья и всеизмененья.
Даже небо охвачено звёздным рыданьем —
как тут петь, если губы — из камня?!

О Наталья, уже ты исчезла в извечной тени!
От ночного забвенья и я уберечь хочу
бёдра твои серебряные — морского прилива чудо,
груди — две смуглых полных луны...
Очи под бурей кудрей вороных,
брови — луки натянутые, что разят остриями молний,
прежде чем улыбка радугой небо наполнит.
Дабы эти стихи впустую не отзвучали,
скажу, что напрасно Тамарой тебя не назвали,
красоту твою должен был новый Руставели увековечить,
«Вепхис ткаосани» причитался тебе современный,
тебе не пристало себя отдавать за меньшую цену, —
утверждаю я,
беспристрастный свидетель.

О Наталья, насколько прекрасней ты, чем Марыля и чем
Людвика,

и милее, чем госпожа Калергис.

Муза, песнь о которой при жизни была не допета,
да будет благословенно твоё на польской земле появление.

Ныне славлю тебя этим скорбным криком,
когда и ты добрела до корчмы последней —
тебе этот стих!.. —

Наталья!

Я писал его, преклонив колени.

Поэтам в изгнании

По заснеженным сёлам в глуши костромских и тверских лесов
ходил в звенящих веригах ваш Христос византийский,
а в степях рысаков своих ржущих откармливал граф Орлов,
чтоб вечно тройки неслись среди диких песен и свиста.

От мороза ёжился каменный Александр Сергеевич Пушкин,
и давила ему на виски тень Медного Всадника,
мелькали ножищи и ножки в подвальных окнах
простуженных,

у купцов молоко, мёд и водка текли по усам.

Но однажды с усов всё стекло, запекаясь в сосульки чёрные, —
так густеют рыжие пятна на вшивых шинелях — —
толпа локтями толкалась, роилась — шумная, тёплая,
стволами блестящими в скорбный лик Спасителя целясь.

Вдруг не стало отваги в сивых лбах кровавых. Зверей,
двинулся им навстречу истории ураган —
и нет уже камер-юнкеров в царскосельских аллеях,

катится детским смехом радостный балаган.

А ведь и тот поэт, что сникал в глубоком поклоне,
изливая больную душу иерусалимским пальмам,
так же и тосковал, и верил, вытягивая ладони,
как те заблудшие странники: Блок, Маяковский, Бальмонт...
Там, далеко, под Жмеринкой, путеец выйдет из хаты —
как у шофёра в чужом Париже, глаза его застланы серым,
и с одинаковой страстью тут и там подрастающим девочкам
сложит к молитве руки человек, на кресте распятый.

Та же в цвету черёмуха от Астрахани до Минска...

Когда затеснит в груди — накипающие слёзы брызнут
и вспыхнет у вас в глазах звёздная ночь украинская,
текущая вольным потоком
над вашей суровой отчизной.

Бестактные максимы

Кто ловко плавает в мутной воде,
а на митингах мечет гром,
кто за букву свободы всегда и везде,
тот у варваров будет рабом.

Кто всюду сеет раздор и обман
на горе другим народам,
тот сам попадётся в тот же капкан,
пожнёт беду и невзгоду.

Кто с палачом торговать готов,
лишь бы пробиться к деньгам
— ибо таков обычай купцов, —

ни за грош будет продан сам.
Кто тупо смотрит на эшафот,
а невинных ведут на плац,
тот сам дорос до петли — вот-вот
чучелом станет, паяц.
Не трагедия — скерцо: за маткой следом
сонный рой залетает в дом,
чтоб верой и правдой служить людоедам
и стать их жирным дерьмом.
Того, кто забыл свои обещанья,
божась и клянясь напоказ,
раздавит удар карающей длани
и ужаса мёртвый глаз.
Кто льстил бесстыдно, а после предал
и за горсть медяков продал,
тот смертельным врагам обеспечил победу,
растратив чужой капитал.
Он дукаты считает, по брови в саже,
а вексель крапивой жжёт —
ведь Божий суд не бывает продажен,
правда всегда всплывёт.
Этот мир обречён, поздно бить в литавры,
когда гниль разъедает труп...
На склепе напишут, плюнув на лавры:
«Предатель, к тому ж был глуп!»
Рать василисков уже на подходе,

рассвет полыхает пожаром,
кровавый призрак за окнами бродит:
«Мане, текел, фарес!»

ЮЗЕФ ЛОБODOВСКИЙ — ПЕРЕВОДЧИК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Хотя Юзеф Лободовский известен прежде всего как переводчик литературы украинской, в его обширном творчестве, связанном с восточнославянской тематикой, выделяются и поэтические произведения, посвященные России, а также переводы русской литературы. Глубокие знания о культуре этой страны и отличное владение русским языком были результатом пребывания поэта в Москве во время I Мировой войны. Лободовский прекрасно описал этот период в своей публицистике, прежде всего в статьях «Мой предреволюционный опыт» и «Мой революционный опыт». Семья Лободовского вместе с пятилетним Юзефом переехала в столицу России и поселилась недалеко от Чистых Прудов. Переезд был необходим, так как отец Юзефа, полковник царской армии Владислав Лободовский участвовал в боевых действиях. Будущий поэт вспоминал позднее, что более всего его потрясли демонстрации московского пролетариата, организованные в знак протеста против мировой войны. Преследования коснулись тогда немецких колонистов, которые были законопослушными гражданами России еще с XVII века. После Февральской революции Лободовские по приглашению знакомых выехали на Северный Кавказ, в Ейск, где весной 1919 г. Юзеф сдал вступительный экзамен в первый класс классической гимназии. Поэт вспоминал, что наряду с другими предметами там преподавали старославянский язык и русскую литературу.

После репатриации в Польшу и литературного дебюта молодой поэт продолжал интересоваться русской культурой, что особенно проявилось в его публицистике. Русская тематика не в такой степени присутствует в его творчестве, как украинская, испанская или ориентальная. Однако и русское течение представительно: поэтические произведения, переводы из русской литературы, статьи в прессе.

В тридцатые годы интерес Лободовского к русской литературе тесно связан с его политической деятельностью — он принадлежал к пророссийским коммунистическим кругам

(позднее порвал с ними и перешел в оппозицию). Согласно биографическим данным, часто встречался с «выдающимся деятелем КПП Шмулем-Бером Меерсоном»: посещал его, чтобы взять для прочтения русские книги и поговорить о литературе. Стихотворения поэта на русские темы («Маяковский», «Русским», «Говорю с Россией», «Слово о Дзержинском») — это монологи, в которых автор выражает свое отношение к России, русской культуре и некоторым ее представителям. В пору эмиграции интерес поэта к России не угас, о чем свидетельствуют стихотворения: «Склонившись над Пушкиным», «Маяковскому», «Три Натальи», «Письмо Борису Пастернаку», «На смерть Пастернака», «Анна Ахматова». Русская тематика появляется в текстах, публиковавшихся в межвоенной периодике (в том числе в «Украинско-польском бюллетене», газете «Волянь»), в эмигрантских изданиях (журнал «Культура», газета «Вядомости»), в очередных поэтических сборниках. Можно предположить, что Лободовский планировал издать книгу стихов на русские темы или новый сборник переводов из русской литературы. Однако планы остались неосуществленными. Так же обстояло дело с переводами украинской поэзии и замыслом издания книги на восточные темы.

Еще в 1935 г. поэт опубликовал книгу стихов «У друзей», куда включил переводы из русской поэзии — произведения Лермонтова, Блока, Есенина и Маяковского. Свой выбор переводчик обосновал в комментариях: «...я выбрал авторов и произведения, наиболее близкие мне эмоционально. Увы, даже самые сильные чувства не могут повлиять на цену бумаги и стоимость печати. Этим следует оправдать отсутствие Некрасова, Волошина и Гумилева, которые были удалены буквально в последнюю минуту. От Пушкина, Брюсова, Пастернака я отказался раньше». Среди переводов Лободовского — знаменитая лермонтовская «Песня про купца Калашникова», о совершенстве которой он писал: «...удивительно, как в этом произведении поэт двадцати с небольшим лет сумел вчувствоваться в дух эпической народной поэзии и оживить старые былины, ни на миг не впадая в поверхностную стилизацию». О своем переводе Лободовский говорил: «...я использовал десятисложник с частыми отклонениями как единственное ритмическое соответствие оригиналу. Белый стих казался слишком однообразным. Регулярная рифмовка привела бы к чрезмерной звучности. Я решил пойти на компромисс, применив отдаленные рифмы, которые сближал в конце каждой стихотворной фразы».

Автор перевода представил в публикации факты из жизни Лермонтова и его поэтическое наследие. Он очень высоко оценивает творчество Лермонтова, сравнивает его с Пушкиным. У последнего бывали «почти мятежные минуты», а творчество Лермонтова было «единым неустрашимым бунтом» на фоне истории царской России. Знаменательна реакция царя Николая I, который, получив донесение о трагической гибели поэта, на полях написал: «Собаке собачья смерть». Лободовский метко характеризует Лермонтова: «...прекрасный лирик понимал свое высокое призвание, был писателем ангажированным в полном смысле слова, считал, что художник должен быть духовным и моральным вождем общества... Одному из своих стихотворений он предпослал красноречивый эпиграф на французском языке, свидетельствующий о его отношении к писателям, игнорирующим призвание, фразерам, торгующим словом, мастерам пустой риторики». В публицистике Лободовского мы обнаружим упоминания и о других русских поэтах, однако именно его отношение к Лермонтову объясняет увлечение русской поэзией. Однажды он писал, что «любит и высоко ценит русскую литературу, особенно поэзию», но что он враг «русского мессианистского империализма, „Третьего Рима“, православно-политического мистицизма, мании русских выступать в роли апостолов и избавителей».

О таланте Лободовского-переводчика свидетельствует рецензия Болеслава Мицинского: «Лободовский умеет с равной полнотой и свободой ощутить и воспроизвести монументальную простоту Лермонтова, тонко передать стилизации Блока, болезненную „скуку“ Есенина и фанатическую страсть Маяковского. (...) Лободовский умеет быть и Лермонтовым, и Блоком, и Есениным, и Маяковским, не разрывая замкнутых поэтических кругов». В комментариях к своим переводам Лободовский оценивал их менее восторженно, чем Мицинский. Поэт подарил польскому читателю также произведения советских диссидентов — поэтов и прозаиков. Вместе с Ежи Стемповским (псевдоним — Павел Гостовец) он перевел роман Пастернака «Доктор Живаго». В 1959 г. роман вышел в Париже со стихами в переводе Лободовского. В 1983 г. в Кракове (в подполье) роман был переиздан с приложением «Стенограммы общего собрания московских писателей от 31 X 1958 по делу Б. Пастернака» (с парижского издания 1967). О поэзии Пастернака Лободовский упоминал в статье «Стараниями переводчика», где анализировал характер поэтического таланта русского писателя, указывал на слабые и сильные стороны его поэзии. Переводам Юзефа Лободовского мы обязаны тем, что узнали

два произведения Пастернака о Шопене (два стихотворения из книги «Второе рождение» и «Трава и камни» из книги «Когда разгуляется...»).

В 1959 г. в «Институте литерацком» была опубликована в переводе Лободовского повесть русского писателя-диссидента Андрея Синявского «Суд идёт», а в 1961 г. — пьеса «честного советского писателя» И.Иванова «Есть ли жизнь на Марсе?» — «комедия (а может быть, трагедия) в трех актах с прологом и эпилогом, время действия пьесы — 1956 год, место действия пролога и эпилога — Москва, место действия трёх актов — Марс». В том же году вышло еще одно произведение Синявского — «Любимов», а вместе со Стефаном Берггольцем (псевдоним Александра Вата) Лободовский опубликовал «Фантастические повести» Юлия Даниэля. В 1967 г. в парижском «Институте литерацком» издан еще один перевод Лободовского — роман советской писательницы Галины Серебряковой «Ураган». В том же году поэт перевел «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» Андрея Сахарова, который вскоре вошел в число лауреатов Нобелевской премии.

Очередные прозаические произведения в переводах Лободовского были опубликованы только в середине 80 х. Среди них «Говорит Москва» Юлия Даниэля и две повести Александра Солженицына: «Матрёнин двор» и «Раковый корпус».

Переводы из русских поэтов Лободовский печатал также в лондонских «Вядомостях». В 1971 г. опубликованы переложения выдающихся произведений Лермонтова. Ранее эти стихотворения вошли в том «У друзей» (в т.ч. «На смерть поэта», «Родина» и фрагменты «Песни о купце Калашникове»). Другие стихотворения, переведенные Лободовским: «Пленный рыцарь», «Поэт» и «Дума». Некоторые из них уже публиковались в других польских переводах, но, по оценке Лободовского, переводы эти были слабыми.

Для знатоков и любителей русской литературы интересны переводы стихов менее известного русского поэта — Максимилиана Волошина; согласно переводчику, они составляют «треть его книги „Демоны глухонемые“». В этой поэзии заключены историософские размышления о России. Приложение к переводам — краткий обзор поэтического творчества Волошина: в частности, Лободовский говорит, что в «Стихах о терроре» и «Демонах глухонемых» поэт дал мощный образ русского апокалипсиса, снабдив его своеобразным историософским комментарием. Большевиком он считал логическим следствием русской истории. Ожили грозные тени

царей и бунтовщиков, воедино слились великодержавная тирания и слепой бунт, воскресли тени Дмитрия Самозванца, Стеньки Разина, Пугачева. История повторяется: «самодержец — в каждом комиссаре, каждый царь — революционер». Лободовский высоко ценил поэзию Волошина, утверждая, что некоторые его стихи «граничат с гениальностью», а исторические оценки «безошибочны (...) будущее всецело подтвердило точность его видения».

Не менее интересны для читателя стихи Алексея Толстого, помещенные в лондонских «Ведомостях». Они носят сатирический характер, а «Сон Попова» особенно значим — в нем создан образ российской действительности, не утративший своей актуальности и в России коммунистической. Лободовский лаконично комментирует творчество поэта, который свободно писал стихи также по-немецки и по-французски. Он подчеркивал, что, к сожалению, творчество А.К.Толстого в Польше мало известно, хотя поэт «дружески относился к полякам — явление в русской литературе тех лет нечастое. Он дал убедительное свидетельство своей позиции во время январского восстания».

Переводы стихов другого выдающегося представителя русской литературы — Иосифа Бродского — и комментариев переводчика к его творчеству находим в одном из номеров «Культуры». Лободовский высоко ценил поэзию Бродского: «Читая показания свидетелей защиты в скандальном процессе Иосифа Бродского, приходилось принимать на веру их заверения, что речь идет о крупном поэте. Впрочем, подчеркивалась главным образом его значительность как переводчика поэзии, в том числе польской. А известно, что бывают великолепные переводчики, которые как поэты не являют собой крупных величин, и наоборот — даже выдающийся поэт может не быть хорошим переводчиком». В «Культуре» опубликованы переводы стихов Осипа Мандельштама, а также Натальи Горбаневской.

Для польского читателя весьма интересно произведение Есенина «Польша» из его книги «Поэзия», изданной в Москве в 1968 году. Как сообщает Лободовский, стихи эти написаны «во время первой мировой войны, вероятнее всего, в конце ее».

Следует упомянуть также о творчестве Александра Галича: Лободовский написал краткую заметку о его трагической судьбе и перевел на польский поэму «Кадиш». Поэма эта, как пишет переводчик, «посвящена памяти великого польского писателя, врача и педагога Генрика Гольдшмита (Януша Корчака), который погиб вместе со своими воспитанниками из

варшавской школы-приюта „Дом сирот” в лагере уничтожения в Треблинке». «Кадиш» был опубликован в книге поэзии, изданной в 60-е годы во Франкфурте-на-Майне.

Ценные для переводчиков и любителей русской литературы замечания находим в уже упомянутой статье «Стараниями переводчика». Автор стремится обратить внимание на мелодичность восточнославянской поэзии. Он усматривает эту мелодичность в рифме, ритме и разнообразии форм версификации. Лободовский определяет и собственную позицию переводчика:

«...техника перевода уже дождалась своих теоретиков и начетчиков. Лично я твердо придерживаюсь ниспровергаемого принципа эквивалентов, хотя никогда не применял его ригористически и доктринерски. Следует исходить из факта, что перевод, в мельчайших деталях повторяющий оригинал, удастся невероятно редко — а я перевел несколько десятков тысяч стихотворных строк, написанных русскими, украинскими, белорусскими поэтами. После войны — также поэтами испанскими и каталонскими. Терпел, разумеется, и поражения, но случались и удачи. Опыт говорит о том, что единственный верный путь ведет через точное соблюдение иерархии ценностей.

Авангардные направления не раз пытались подорвать значение рифмы и ритма, особенно регулярного. Звучали презрительные определения: „шарманщики”, „строфопоисцы”, „рифмотрепальщики”... (...) Но не подлежит сомнению, что если автор построил свое произведение на основе определенного строфико-ритмического образца, добросовестный переводчик обязан сохранить все версификационные приметы оригинала, поскольку они составляют органическую часть художественного целого. Попытки переводить поэзию прозой, даже ритмической, из которой удалены рифмы, лишены внутренней мелодии, — обычно сплошное недоразумение. Таким недоразумением была, к примеру, работа Поля Казена: „Пан Тадеуш” вообще до французского читателя не дошел. С тем же успехом можно своими словами рассказывать концерты Баха или симфонии Бетховена. Особенно ритм играет принципиальную роль. Сохранить ритм — святая обязанность переводчика».

Творчество Юзефа Лободовского сегодня воспринимается прежде всего в контексте его интереса к украинской культуре и вовлеченности в польско-украинское примирение. Однако творчество Лободовского насыщено также мотивами, связанными с культурой России. Хотя большая часть его

текстов по-прежнему разбросана по многочисленным газетам и журналам польской эмиграции, читатели всё лучше узнают наследие этого поборника диалога культур.

ШОФЁР С АТТЕСТАТОМ ЗРЕЛОСТИ

Рассказывает Владислав Фрасынюк:

Я был рабочим, был одним из лидеров «Солидарности», был уголовником, был рецидивистом, карьера моя была головокружительной. Я был парламентарием, был даже, можно сказать, предпринимателем, и всё это я — Владислав Фрасынюк. Я родился во Вроцлаве в Фабричном районе, а вся моя юность прошла на Железной улице. Жизнь и общение с товарищами проходили в подворотне.

Я был высоким, ловким, смелым, поэтому разные люди меня подставляли, скажут: стой на стрёме, пока мы киоск будем потрошить. Мой отец мне однажды сказал: «Знаешь, Владек, тебе надо запомнить, что в таком квартале можно только двумя путями сделать карьеру таким парням, как ты: либо сесть в тюрьму, либо работать в милиции». С трудом верится, что на нашей улице было всего лишь три каменных дома, а всё вокруг лежало в развалинах, до второго этажа были развалины. И вот по этим развалинам я бегал в школу, что была наискосок.

Во дворе проходила вся моя личная жизнь. В этом же дворе я учился играть в футбол. Я освоил многие виды спорта, потому что мне всё легко давалось. Какое-то время я был штангистом, мечтал о боксе. Бокс учит быть смелым, решительным и сильным, но при этом учит и выдержке. Тому, что очень важно в жизни, — держать удар, правильно реагировать. Уметь ответить. Оправиться от поражения. Не дать себя запугать.

В нашем доме было несколько любопытных семей. Во-первых, моя семья, если говорить честно, не очень подходила для этого дома, потому что отец был, что называется, мастером «золотые руки», а в те времена «золотые руки» спиртного не чуждались. Отец не пил, он был человеком спокойным, к действительности относился с некоторой дистанцией, всему давал весьма трезвую оценку и учил нас держаться подальше от этой системы. А моя мама так и вообще была родом из Варшавы, она была дочерью главного бухгалтера в «Польской табачной монополии». Дом наш был открытым. Нас учили тому, что каждый из нас должен стараться сделать в доме всё, что может, облегчая жизнь другому.

Я учился в техникуме и был твердо убежден, что надо найти себе такую профессию, которая давала бы как можно больше свободы. Я думал над тем, что бы мне с собой сделать и придумал, что я стану водителем больших грузовиков. Поступил на работу в Государственный автотранспортный трест. И действительно, сразу начал водить грузовики, пару месяцев я там поработал и пошел в армию. Там-то, в армии, я пережил 76-й год. Тогда сложилась ситуация, в которой была некоторая напряженность, она требовала мобилизованности, проверки армии на предмет того, чью сторону она займет. Впервые я вел себя активно на этих совершенно дурацких и бессмысленных политзанятиях. Именно там прозвучали эти слова — сброд и смутьяны, и тогда я встал и сказал: «Прошу меня извинить, но почему вы называете моего отца, который отправил меня сюда, в эту армию, смутьяном? Почему вы рабочих называете смутьянами?»

Это вызвало страх среди офицеров и большое уважение ко мне среди солдат. Они впервые подняли голову, начали прислушиваться к этой дискуссии. Разумеется, меня турнули ко всем чертям через пять минут после этого обмена мнениями.

1980 год стал для меня своего рода накоплением профессионального опыта. Я был свидетелем экономического ускорения во времена Герека, видел, как строится современный город Тыхы, видел Белосток. И эта действительность представлялась совсем иначе, чем показывали по телевизору, ведь человек много чего видел. Видел безнаказанность, хамство полиции, которая вечно тянула руку за взяткой. Видел и этих ормовцев (отряды содействия милиции), этих кретинов, которые могли тебя просто убить, потому что их удостоверение гарантировало им какую-то другую, лучшую жизнь. Всё было фикцией. Да, всё было фикцией, но, честно говоря, мой бунт в августе 1980 года был вовсе не из-за денег. Я зарабатывал очень хорошо — получал в среднем 17 или 18 с половиной тысяч, что было в три раза больше, чем зарабатывал мой отец — слесарь-инструментальщик, и в четыре раза больше, чем школьный учитель. Я взбунтовался не из-за каких-то там секретарей партийных, я их вообще в гробу всех видел, этих секретарей. Я взбунтовался против серости всей нашей жизни, против хамства, невежества, некомпетентности, вот что меня раздражало.

Я был рабочим, который водил автобусы. Вдруг оказалось, что начались забастовки. Ну тогда и мы скоренько тормозим и начинаем разбираться, что да как, разговариваем, пошли

требования, требования. Какие требования? Свободные профсоюзы. Я помню, что из всех 21 требований одно меня буквально привело в восторг — свободные профсоюзы. На протяжении июля и августа мы постоянно узнавали об этих протестах. Я начал волноваться, что во Вроцлаве ничего не происходит. У меня была так называемая вторая смена, когда приезжаешь в парк примерно в час ночи; мы очень хорошо зарабатывали на так называемой экономии топлива и в связи с этим стояли в длинных очередях в ожидании заправки. И вот, стоя в этой очереди, я и говорю своим старшим товарищам: «Ребята, надо бунтовать, ну, что это такое, ведь это безобразие». Разговор этот продолжался несколько часов. Мы шумим в диспетчерской, и вдруг входит ормовец с нашего предприятия, в окошко просовывается такой тип и говорит мне: «Эй ты, ты, иди-ка сюда, ну ты, ты, сопляк, пойдись сюда». И тут я повел себя так, как и подобает человеку с достоинством: «Мужик, ты кого тут ищешь, и что значит „ты“, ты кому это пальцем машешь?» Он взбесился, ведь он же власть милицейская, из будки этой выходит, и тогда вдруг все как один встали: «Да ты, блин, чего тут ищешь?»

Это и было символическое сердце забастовки, то есть наш автобусный парк, тут все и началось. Утром я приехал в парк, там забастовка. Мой товарищ Норберт Лесицкий, ну просто настоящий лидер, я прямо к нему — и говорю: «Надо выбрать забастовочный комитет». И тогда люди, которые тогда вставали: «Правильно, правильно, нужен комитет». Правда такова, что меня вытолкнули в этот комитет. И я быстро стал председателем «Солидарности», не очень, как говорится, демократическим путем.

5 марта 1981 г. Фрасынюка выбрали председателем вроцлавского учредительного комитета «Солидарности», а с июня он стал председателем Нижнесилезского регионального правления профсоюза.

Двое взрослых людей свое мнение высказали по этому поводу. Первый — мой отец, когда я пришел к нему и говорю: «Папа, я стал председателем „Солидарности“», — и в ответ слышу: «Что, Владек, умнее никого не нашли?» И второй — был важный разговор с кардиналом Гульбиновичем, который встретился со мной и сказал: «Впервые в истории Польши у нас есть два автономных института: Церковь и „Солидарность“. Они наверное будут отличаться друг от друга, но важно искать то, что нас объединяет, пан Владислав. Вы человек молодой, так я скажу вам прямо. Знаете ли, если говорить совсем по-простому, то речь о том, чтобы вы не выступали с амвона, а я —

с автомобильного прицепа, понимаете? Чтобы роли наши не путать».

Чрезвычайно важными были интеллигенты, которые учили тебя всё верно понимать, учили тебя быть лидером, демократическим лидером, учили мыслить категориями гражданского общества. Это не всегда так называлось, не всегда имело такую дефиницию, но по большому счету именно они учили тебя функционировать в иной действительности, в той, которая им тоже ведь была незнакома.

Перед самым введением военного положения, на случай именно такой опасности, мы создали так называемые заводские комиссии в подполье. Богдан Лис мне сказал [в Гданьске, на заседании Всепольской комиссии «Солидарности» 12 декабря 1981]: «Слушай, за нами следят, нас обложили». И тогда я сказал: «Ребята, всё, что движется в направлении Познани, — садимся и едем, лишь бы отсюда выбраться». В Познани мы оказались уже после объявления военного положения. Идут человек шесть или восемь военных, мы спрашиваем: «Что случилось?» Они смотрят на нас и говорят: «Война». Первый поезд до Вроцлава — мы садимся. Тут входит кондуктор, и я говорю: «Извините, но у нас... нет билетов на этот поезд, ведь этот поезд опоздал, что-то там...» — он посмотрел и говорит: «Пан Фрасынюк? Вас ищут. Сойдите в Лешно». Я сказал: «Нет, знаете ли, в Лешно я не сойду, ну подумайте, где Лешно, а где Вроцлав, это вообще невозможно». А ребятам говорю: «Парни, в самом деле происходит что-то серьезное, договариваемся так, что перед Вроцлавом встаем у дверей и прыгаем, добираемся до окраин Вроцлава». И вдруг поезд начал снижать скорость. Мы повыпрыгивали. Я прыгнул первым, поезд, правда, еще довольно быстро ехал. Слышу, поезд тормозит, скрипят тормоза. Я посмотрел на локомотив, а там машинисты и другие железнодорожники в окошко выглядывают и показывают нам... ОК.

После введения военного положения Владислав Фрасынюк стал председателем Регионального забастовочного комитета, которым он, скрываясь, руководил до самого своего ареста 5 октября 1982 года. Он также был одним из организаторов Временной координационной комиссии (всепольского подпольного руководства) «Солидарности», которая начала действовать 22 апреля 1982 года.

Гэбэшники сообразили, что мы на заводе «Пафаваг», и начали за нами гнаться, пытаться окружить. Мы бежим по цехам, рассчитывать не на кого. В какой-то момент я понял, что если мы не сумеем добраться до открытых ворот, то нам просто

конец — нас поймают. И помню, с каким облегчением я увидел парня, который потихоньку, из-за какого-то листа жести показывает нам... что вот тут открыто, что это дверь на свободу. В октябре 82 го меня схватили.

Запихнули нас в машину «Фиат 125Р», это была страшная поездка. Как будто я был главарем террористической организации, и в любой момент мог выскочить некто, бросить гранату или обстрелять эти машины. Рядом со мной сидели два здоровенных мужика, тыча дулом пистолета мне в ребра. А на переднем сиденье рядом с водителем сидел парень, который приставил пистолет мне к виску, и этот парень оказался самым словоохотливым, он мне всё твердил: «Ну вот здесь мы тебя и хлопнем, тут вот известь, а тут ров, сюда мы тебя и сбросим, ну, будешь говорить? Говори».

Позже, когда меня посадили, в общем обычная техника — две команды: культурные в синих костюмах и парни, владеющие карате. И, естественно, культурные говорили так: «Сейчас вот эти ублюдки придут и тебя отделают, Владек, уж лучше ты с нами разговаривай». Приходили ублюдки, клали лист чистой бумаги и говорили: «Подпиши, а если нет, тогда...» — выволакивали, взводили курок пистолета, мол, застрелят.

Посадили меня в подвал. Вхожу в эту камеру, там сидит бедолага-чиновник, который что-то там украл, и второй — из вечных арестантов, татуированный весь с головы до пят, разговаривает только на тюремном жаргоне. И вдруг этот уголовник говорит: «Владек? Надо бы нам чайку^[1] попить». Подходит к двери, лупит в нее ногой и говорит: «Блин, такой-сякой, нам тут с Владеком почифовать надо, — говорит. — Воду давайте». Открывается дверь, и, действительно, нам кипятком заливают этот чай, который мы с вором этим и выпиваем. Первое ощущение было, что это мой дом. Они там долго раздумывали, должен ли я быть шпионом, террористом, в Варшаву меня надо или я должен проходить через Военную прокуратуру и Военный суд, кто должен мое дело рассматривать. В конце концов решились на процесс в обычном суде. Все-таки любопытно, какое у этих функционеров из госбезопасности, людей с высшим образованием, какое у них было представление о мире. Прихожу на допрос, один из первых моих допросов, когда меня уже арестовали, вхожу в специальную камеру для допросов, и тип орет мне: «Фрасынюк, вы не рабочий, вы интеллигент!» И говорит он это вполне серьезно. И дальше: «Мы проверили, у вас есть аттестат зрелости». Я фыркнул, рассмеялся и говорю: «Послушай, ты хоть глянь, где я горбачусь, я же шоферу всю жизнь». А он мне:

«Прикидываетесь, мы вас разоблачили». И это говорит человек с высшим образованием, глубоко уверенный в том, что рабочий — это порядочный человек, который не может пойти против народной власти.

«...Воеводский суд во Вроцлаве признаёт подсудимого Владислава Фрасынюка виновным в совершении предъявленного ему деяния и приговаривает к 6 годам лишения свободы и 4 годам поражения в правах».

Тюрьма — место весьма примечательное. Это, я бы сказал, специфический университет, человек учится везде, в тюрьме он тоже учится. В тюрьме действует такое правило: там не бывает сильных. Ты должен быть покорным, но это вовсе не означает, что ты должен быть слабым. Сидишь с разными людьми, изувеченными, глубоко обиженными, и тебе надо найти с ними общий язык. Их надо как-то мотивировать на какое-то общее действие.

Меня таскали из тюрьмы в тюрьму. Сидел в Ленчице много раз; несмотря на то что там меня крепче всего били, все же они признавали, что Ленчица — то место, где у вертухаев со мной самые хорошие контакты. Помню, как, приехав сюда во второй раз, я долго стоял и ждал, пока в конце концов дверь открылась и появилась вся верхушка и сам начальник охраны. Мы его звали «тракторист». Так вот он стоит, стоит, а я и говорю: «Что же вы не радуетесь, вы же тендер на Фрасынюка выиграли!» А он: «Блин, опять начинается».

В заключении я быстро научился, что в каждой новой тюрьме я ставлю свои условия. И это, конечно, всегда заканчивалось побоями, но зато с этого момента правила игры были установлены.

Меня отправили в Варшаву и посадили в самое плохое отделение, туда, где были отказы от работы и где 60% было приговоренных к смертной казни. Ну и, разумеется, в качестве приветствия мне хорошенько досталось от вертухаев. Там правила жесткие, и Фрасынюку нечего выпендриваться, а если попробует — ведь темперамент у него такой — то тамошние его... и я помню первый такой урок, выводят нас на прогулку, и все в тюремных куртках, только я выхожу без ничего. И вертухай говорит: «Вы^[2]! Ко мне!» Я, естественно, никак не реагирую, ноль внимания, проходит минуты три, парень, который рядом со мной, серьезный такой, говорит мне: «Слушай, браток, он вроде как на тебя вякает. А я этому уголовнику в ответ: — Да я, знаешь ли, вовсе не „вы“». Уголовники присматриваются, глядят, что это за фраер, такой

хилый, а такой бравый. И в конце концов этот вполне правильный кореш вновь ко мне поворачивается и говорит: «Ну, задал ты жару, но давай пойдём на прогулку, может слетаешь за этим клифтом?» А в камере у меня были два таких из малолетков и один рецидивист. И вот спрашиваю я у малолетка: «Кто тут рулит?» — «Болек и Квас». Вывели меня на прогулку, первое, что я сделал, — сказал: «Болек, Квас? Я Владек Фрасынюк». — «Так это ты? Ну, тогда давай лапу».

В тюрьме, в такой строгой тюрьме, если тебе главари мафии протягивают руку, это значит, что тебя уже не тронут. Был такой вертухай, у которого всегда был с нами хороший контакт. Всегда с нами там... и вот идет он со мной от третьего этажа через весь двор и говорит: «Слушайте, Фрасынюк, вы знаете, что вас посадят. И знаете, Фрасынюк, хуже всего будет, как вы выиграете. Ведь вы выиграете, Фрасынюк, ну вы же знаете, что выиграете». — «Да нет, я не знаю, пан Янек, откуда мне знать». — «Вы выиграете, Фрасынюк. И хуже всего будет, как вас свои посадят». — «Пан Янек, но почему меня свои должны посадить?» — «Фрасынюк, да у вас рожа такая и язык без костей, что вас посадят. И тогда будет тяжело, и я за вас боюсь».

Приехали за мной из ГБ и говорят: «Ну что, коллеги вертухай, давайте, берите этого Фрасынюка и запикивайте в нашу „Волгу“, на которой мы его отвезем во Вроцлав». А те и говорят: «Ребята, да мы с ним тут два года изо дня в день парились, сами себе его и запикивайте». Ну, они тогда сильно струхнули, что делать, двое пошли звонить, а один из них остался по ту сторону решетки. И я говорю: «Так что, господа, я свободен или нет?» Вертухай говорит: «Свободен». — «Так открывайте». Я выскакиваю, стоит тот гэбэшник, тогда я схватил табуретку и говорю: «Ну, парень, сейчас я твою башку по этой стенке размажу». Тот отшатнулся, и я выскочил из тюрьмы. Многих ребят я знаю, которые сидели в тюрьмах и которых ни разу не побили, но в них глубоко сидит ощущение несправедливости. А у меня его нет. Во мне нет ощущения, что я жертва. Я всегда реагировал немедленно. Я бы сказал так: даже честно, нет во мне ненависти к вертухаям, несмотря на то что пару раз меня сильно избили, но я никогда не был человеком, которому бы перепало без причины.

Люди в Польше были кошмарно измучены, но вот пришла вторая волна забастовок в 1988 и 1989 гг., и тут госбезопасность оказалась проворнее меня. Меня сажали на 48 часов без передышки. С того момента действительно долгое время ничего не происходило, но потом началась подготовка к «круглому столу».

Помню, должны были состояться первые переговоры в Магдаленке, мы должны были отправляться в Магдаленку лишь после того, как Кищак гарантирует, что людей вернут на работу. Возвращаются с переговоров один из церковных иерархов и один из этих наших интеллигентов, и довольный иерарх говорит: «Вопрос решен, всех вернут на работу, только они должны принести липовые больничные листы и...» Все сказали: «Замечательно». А я и говорю: «Послушайте, вы вообще-то понимаете, что мы делаем? Мы хотим согласиться на липовые больничные? И таким образом мы сдаем ГБ сразу двоих: врача и работника». Я повторял своим товарищам вновь и вновь, что единственное, чем мы обладаем, — это наш авторитет. После очередного раунда переговоров в Магдаленке ко мне подошел некий главный советник, секретарь Кищака, с вопросом, точно ли я тот Владислав Фрасынюк, который сидел в тех тюрьмах. Я говорю: да. И он мне говорит: «А ведь мы знали, что вы не захотите подать руку Кищаку. И знали, что большинство хотело подать ему руку, вы помните ту первую встречу?» Первая встреча выглядела так: нас выпустили из микроавтобуса, и вдруг встал строй рослых парней. А мы так посерединке топ-топ-топ. Ну, я иду себе и думаю: черт, дурацкая ситуация, но ничего не поделаешь, придется сказать Кищаку, почему я не подам ему руки. Я был уже метрах в двух до Кищака, и вдруг один из этих рослых парней отвернулся. Я воспользовался этой заминкой и вышел. И вот он говорит: «Мы сознательно вас пропустили, потому что, исходя из вашего психологического портрета, мы предполагали, что у вас может быть лезвие в ладони. И вы порежете ладонь генералу. Хотя вообще-то мы относимся к вам с большим уважением. А то, как вы отреагировали на эти липовые больничные листы — это просто супер!» Тогда-то я понял, что нет в Польше такого места, где бы нас не прослушивали.

Мы всё время опасались, что самое трудное, что нас ожидает за столом переговоров — это профсоюзные вопросы, что самым трудным требованием будет требование... согласие на восстановление легальной деятельности «Солидарности», и поэтому мы выбрали самое сильное представительство: Мазовецкий, Лешек Качинский, Владислав Фрасынюк.

Архивный материал заседаний «круглого стола» (Гданьская студия)

Владислав Фрасынюк:

«Я должен сказать, что в этом зале по-прежнему витает дух тех сорока с лишним лет, когда власть осуществлялась с помощью тоталитарных методов, а значит, есть опасение перед свободой

профсоюзов и общественной свободой, а значит, и теми же свободами, какими являются свобода профсоюзная и свобода гражданская. Так что, с одной стороны, от нас добиваются... от нас требуют декларации, или же обязательств политических, а с другой стороны, говорят, что наш профсоюз должен отказался от политики. Мы находимся в ситуации, когда необходимо перейти реку. Над этой рекой есть мостик, но он, к сожалению, узкий и шаткий, а по такому мостику не ходят ни парадным, ни строевым шагом».

У них был продуманный план игры, они были довольно открытыми, понятно было их убеждение: Господи, мы топим их, этих парней из Солидарности, но они и сами себя топят, ведь бросаются в глубокую воду, а плавать не умеют, надо же что-то придумать, чтобы хоть пара из них прошла в парламент. Я помню обуявший их шок, когда вдруг оказалось, что всё совсем наоборот, что это как раз они не поняли всех происходивших тогда процессов.

Для меня некоей видимой границей, когда я решил, что перехожу в политику, был период в «Солидарности», когда все знали и были даже убеждены, что председателем станет Владислав Фрасынюк. А я всё больше колебался, сомневался, хочу ли я быть председателем профсоюза. В профсоюзе тогда царила тоска по тому, чтобы вновь повторилась революция «Солидарности» и чтобы заново разыграть сцену 13 декабря. И я тогда всё больше сомневался. Я внимательно следил за тем, что происходит в парламенте, даже с восторгом наблюдал. Все отчетливее я понимал, что действительность меняет польский парламент, что там создается новое качество. Я долго размышлял над тем, как мне поступить, и пришел к выводу, что самым честным в такой ситуации будет мой выход из профсоюза. Я подготовил съезд, во время которого вернул свой мандат. Хорошо, Фрасынюк, но что такое политика? Что ты, собственно, будешь там делать? А что будет, если ты проиграешь выборы, в возрасте 50 лет? В 92-м я учредил фирму вместе с моим товарищем по подполью, моим товарищем по школе и с братом этого товарища. Мы купили два грузовика на одолженные деньги. Мы были и водителями, и предпринимателями, и механиками. До той поры было так — как меня там убеждали, — что не следует рисковать, а у меня, честно говоря, и времени не было, чтоб с ними полемизировать. Теперь же я считаю, что надо рисковать, потому что те, кто не рискует, успеха не добиваются.

Занимаешься политикой, но профессиональным политиком становишься в том случае, если ты имеешь свою систему

ценностей. Скажем, я социал-демократ, либерал, консерватор, христианский демократ; и согласно этому я выстраиваю всю свою идентификацию и программные предложения. Без этого ты — не профессиональный политик.

Я состоял в «Унии свободы», в партии своей мечты, меня, стало быть, окружала интеллигентская среда, та, которую я помню с 80-го года. Я помню их прежних, когда мне было 26 лет и я упивался их знаниями, образованием, открытостью, мудростью, когда они никого не поучали, и к каждому человеку относились как к партнеру. В моей партии множество замечательных людей, потенциала ее хватит по меньшей мере для трех партий. Но сила этой партии, потенциал этой партии становятся помехой для убедительного выступления. Мы оказываемся за рамками парламента. Я раздумываю, что делать дальше, а приличия требуют вывести эту партию за рамки парламента. Может быть, это — последний шанс, чтобы вернуться туда, но при условии, что мне удастся пробить проведение заметных изменений внутри партии. Есть некая идея создания чего-то, что будет называться Демократической партией. И вот я думаю: настал такой момент, я сумею пробить эту демократическую партию. Мне просто не хватило опыта, решимости. Потом начинается предвыборная кампания — сроки кампании слишком короткие, слишком мало денег. Мы проигрываем. Что делать дальше? И честно говоря, я прихожу к выводу, что для меня политика закончилась. Что нет, не будет такого момента, когда я смогу сказать, что я стал профессиональным политическим лидером. Я думаю, что моим самым большим успехом можно считать то, что Владислав Фрасынюк, человек, который мечтал о карьере водителя-дальнобойщика на международных трассах, стал лидером самой интеллигентской партии в Польше.

Уже в свободной Польше, в 1990 г. Владислав Фрасынюк стал одним из основателей Гражданского движения «Демократическая акция», а год спустя принял на себя обязанности председателя Главного совета этой партии. В 1991–1994 гг. он вице-председатель «Демократической унии», в 1994–1995 гг. — член президиума Всепольского совета «Унии свободы», а в 2001–2005 гг. — его председатель. В 1991–2001 гг. был депутатом Сейма первого, второго и третьего созывов. В 2005 г. вместе с Тадеушем Мазовецким и Ежи Хауснером положил начало Демократической партии, лидером которой оставался до 4 марта 2006 года.

Меня радует солнце, радует сад, радует то, что в моей жизни все время что-то меняется. Меня радует также то, что я

принимаю, что я еще могу принимать нерациональные или даже иррациональные решения, ведь в моем возрасте создавать семью — дело скорее иррациональное.

Мне 54 года, и я учусь заново быть членом семьи. Я уже забыл, что это значит — семья. Я отношусь к тому поколению, которое, как все оппозиционеры, заплатили страшной ценой за подполье — распадом семьи. Я фантастический отец, особенно в самые первые годы жизни моих детей, так как по натуре я либерал, я уважаю их свободу. Ребенок должен сам найти в себе мотивировки к тому, чтобы стать порядочным и честным гражданином. Причем дело обстоит так, что ты можешь просто показать детям пример, при этом давая им свободу. Когда моя дочь забеременела, то сказала мне, что она не собирается выходить замуж за того парня, ибо она еще не до конца уверена, дорос ли он до того, чтобы стать отцом и мужем. Я ей сказал: «Ты права». И вместе с тем у самой моей дочери наверняка имеется целый ворох претензий именно ко мне, что я не был отцом, когда я как отец был ей необходим. Я признаю свой грех перед собственными детьми и даже не пытаюсь сваливать всё на военное положение и на то, что мне приходилось скрываться, хотя это были всё же обстоятельства, которые частично меня оправдывают.

Вот такой я человек: утром бреюсь и ловлю себя на мысли, что жизнь моя была чрезвычайно интересной и что эта жизнь еще не закончилась.

-
1. Чай по-польски — herbata, а заимствованное из русского czaj, czajok — чифирь.
 2. «Вы» вместо польского «пан». Такое обращение повсеместно вводилось в 40-50-е годы правящими кругами ПНР, отчасти сохранялось и позже.

ГОРОД ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Одно из самых важных течений польской общественной жизни после 1989 го — несомненно, восстановление региональной самобытности. Долгое время подравниваемые под ранжир, трамбуемые в однородную, недифференцированную массу, но все-таки по-прежнему живые, местные сообщества вновь обретали право заговорить собственным голосом, проявить свои характерные черты, артикулировать свой индивидуальный нарратив, подавлявшийся в идеологической болтовне о «единстве народа» страны «реального социализма». Возникло целое литературное направление, которое критика назвала «коренным», т.е. ищущим корни своей оригинальной, собственной истории. Так происходит в гданьских романах и повестях Павла Хюлле или Стефана Хвина; точно так же — в прозе Казимежа Браконецкого или эссеистике Роберта Трабы о специфике Вармии и Мазур, укорененной в их восточнопрусском прошлом; наконец, если ограничиться этими примерами, в щецинских повествованиях Даниэля Лисковацкого или Инги Ивасюв. В сфере публичной жизни регионализм означает еще и восстановление структур гражданского общества и местного самоуправления. Централизованная до тех пор культурная жизнь претерпела децентрализацию, что можно видеть и в оживленном журнальном движении, где Варшава перестала играть свою прежнюю роль: достаточно упомянуть, что Силезия, раньше представлявшая собой своего рода журнальную пустыню, в данную минуту располагает на общепольском рынке по меньшей мере четырьмя культурными изданиями и что важную роль играют литературные журналы, издаваемые в Быдгоще, Гданьске, Ольштыне, Щецине, Жешуве.

Ныне прибавился новый ежеквартальный журнал «Ближа», первый номер которого вышел в Гдыне. Название взято из кашубского языка и означает морской маяк. Морской характер города выступает тут как одна из основных тем. Гдыня была в 1918 г., в момент обретения Польшей независимости и выделения ей небольшого лоскутка побережья, маленьким приморским поселком. Как пишет в очерке «Городской приморский пейзаж» Славомир Китовский:

„В самом начале двадцатых годов «Нэшнл джиографик мэгэзин» опубликовал репортаж с польского побережья. Под

фотографией, изображающей гдынское побережье с половинками старых лодок, стояла подпись: «Там, где Польша возмечтала о постройке для себя собственного Нью-Йорка». Когда журнал показывал то же самое место в 1930-е, там уже существовал хорошо развитый город. Даже американцам темпы возведения Гдыни казались необыкновенными».

Вскоре Гдыня стала самым крупным портом по эту сторону Балтийского моря. И до сих пор она сохранила свой специфический характер. Вот как говорит о нем Павел Хюлле:

„Я приезжаю в Гдыню из Гданьска именно для того, чтобы испытать тут (...) ощущение большого города. В Гданьске этого нет. Порт отрезан от города далекой, невидимой границей. В Гдыне — безумие. Корабли в центре города! Забегаловки на бульваре. И этот вид на холмы от памятника Джозефу Конраду... Обширное пространство, распланированное и застроенное в модернистском духе нашими дедами. Было у них, черт подери, воображение. Размах. Чувство формы. Они ощущали дыхание времени, современности. И движение — как принцип города. Его пульс. Как будто чувствовали, что город — это не огораживание заборчиками, а некое эпическое предприятие. (...) Гдыня — это самое удачное, состоявшееся — и дорогое сердцу — дитя нашей независимости. Нашей Второй Речи Посполитой, у которой, разумеется, были свои грехи, но и великолепные успехи. Поляки, как оказывается, не любят успехов. Не умеют радоваться тому, что действительно может преисполнять их — как Гдыня — гордостью».

И трудно возразить: Гдыня, город, созданный первопроходцами, которые, подобно моему деду, создателю и директору верфи «Наута», зачастую прибывали сюда очень издалека (он — прямиком из Тобольска), — это один из неоспоримых успехов Польши межвоенного периода. Город, который — о чем метко говорят участники дискуссии в первом номере «Ближи» — может служить источником первопроходческого мифа. Потому что, как свидетельствует в той же самой беседе Войцех Борос:

«Гдыня также показывает, как могла бы выглядеть Польша, если бы не разразилась война (...) миф ее основания остается чуточку недооцененным (...) в глубинке, in the middle of nowhere, мы кое-что делаем. Приезжает куча народу, режиссирует что-то, чего нету, и оно вдруг возникает. Это прекрасно — для меня умопомрачительно, что такое было возможно в этой стране».

Автор приведенных слов ведет сейчас литературные встречи на Поэтической пристани «Чердак», действующей с 2001 года.

Но и после войны, невзирая на помехи, которые создавала навязанная система, Гдыня сумела спасти что-то из своей первопроходческой этики. Об этом рассказывает выдающийся саксофонист Пшемислав Диакровский, который в 1960-х перебрался сюда из родного Кракова:

«Не скрою, меня поразила размах жизни и открытость жителей. Я быстро понял, что в те времена Гдыня была одним из польских окон в мир. Благодаря ее портовому характеру тысячи людей вступали здесь в контакт с рыночной экономикой, хотя и функционировали в структурах государственных предприятий. Здесь возрождались также этика довоенного купечества благодаря так называемому моряцкому импорту. Многочисленные лавочки или даже лотки предлагали добротную заграничную одежду, предметы роскоши, бакалейные товары».

Сегодня Гдыня постепенно возрождает свои давние традиции, становится городом, всё больше заметным на карте Польши. В том числе и в литературной жизни: ежегодные «Литературные премии Гдыни» в области поэзии, прозы и эссеистики — одни из самых важных в стране. В настоящий момент дополнением к этой и другим инициативам становится новый журнал, который — судя по материалам, помещенным в первом номере, — нацелен на реанимацию первопроходческого духа города.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

2010 год в Польше и в мире будет посвящен Фредерику Шопену в связи с 200 летием великого композитора. Национальная филармония в Варшаве торжественно открыла Шопеновский год 7 января концертом мегазвезды — китайского пианиста Лан Лана. 27-летний виртуоз выступал уже почти во всех знаменитых концертных залах мира, получая восторженные рецензии. Концерт Лан Лана во время открытия Олимпийских игр в Пекине смотрело по телевидению свыше пяти миллиардов человек. В декабре прошлого года пианист выступал в Осло во время церемонии вручения Бараку Обаме Нобелевской премии мира.

После концертов в Варшаве Лан Лан 10 января представил в Лодзинской филармонии цикл «Великие шопеновские творения», которым открылся Год Шопена в Лодзи.

А Познанская филармония начала Год Шопена 16 января концертом с участием российского пианиста Александра Кобрин и оркестра Познанской филармонии под управлением Антония Вита.

6 января Большой театр — Национальная опера в Варшаве возобновил памятный спектакль — «Евгения Онегина» Чайковского в постановке Мариуша Трелинского со сценографией Бориса Кудлички. Дирижировал Валерий Гергиев — главный режиссер и художественный руководитель Мариинского театра, одна из самых заметных фигур среди музыкантов своего поколения. Сотрудничество Гергиева с Трелинским уже имеет свою историю. Оно началось в 2005 г., когда российский музыкант перенес в Мариинский театр варшавскую постановку «Мадам Баттерфляй». Следующей работой Трелинского, которая также побывала на сцене Мариинского театра, была вроцлавская постановка «Короля Роджера» Кароля Шимановского. Этот спектакль Гергиев представил затем на фестивале в Эдинбурге. В 2009 г. Трелинский поставил в Мариинском театре две русские одноактные оперы: «Алеко» Рахманинова и «Иоланту» Чайковского.

Валерий Гергиев первый раз дирижировал оркестром Национальной оперы ровно год назад, 6 января 2009 года. Тогда

исполнялась «Пиковая дама» Чайковского в постановке Мариуша Трелинского.

31 января в Большом театре жители столицы могли посмотреть балет «Баядерка» Людвиг Минкуса, поставленный на варшавской сцене Натальей Макаровой в классической хореографической редакции Мариуса Петипа. На один этот вечер в Варшаву приехали известная российская прима-балерина Светлана Захарова (выступила в главной роли Никии) и премьер балета Мариинского театра Денис Матвиенко.

Во время вечера Польский Национальный балет почтил память «отца классического балета», великого французского балетмейстера Мариуса Петипа (1818–1910) в связи со столетием со дня смерти. Оркестром Национальной оперы дирижировал ее художественный директор Тадеуш Козловский.

В бывшем кинотеатре «Охота» разместился новый варшавский театр — «Ох-Театр» под художественным руководством Марии Северин. Новая сцена открылась 16 января премьерой «Вассы Железновой» Максима Горького. В главной роли выступила Кристина Янда, она же была и автором новой редакции пьесы.

— Горький писал эту пьесу три раза, — рассказывала Янда перед премьерой. — Фабула, если избавиться от политического контекста того времени, кажется удивительно актуальной с точки зрения психологических отношений в семье. Перед Горьким бледнеют современные драматические опыты поколения бруталистов, оказываются мелкими и искусственными. Социальные явления, такие как педофилия и насилие в семье, оказываются главными проблемами этого произведения и источником преследующего дом Железновых проклятия.

— «Вассу Железнову» можно трактовать по-разному, — считает театровед Катажина Осинская. — Этому способствует сложность характера главной героини. Васса — трагическая фигура. Так же, как трагической и неоднозначной фигурой был ее создатель — Максим Горький. Сегодня его реже читают, а в свое время он пользовался огромной популярностью, и не только в России, но и на Западе — об этом свидетельствуют многочисленные переводы его прозы, а также постановки пьес. Интересно, что о его творчестве хорошо отзывались не только представители западных левых, такие как Анатоль Франс и Стефан Цвейг. Франц Кафка обратил внимание на следующую особенность мастерства писателя: «Непонятно, каким образом Горький, обрисовывая черты характера человека, воздерживается вершить над ним какой-то суд».

В спектакле, ставшем режиссерским дебютом Вальдемара Ражняка, наряду с Кристиной Яндой заняты также Ежи Треля, Шимон Кусмидер, Дорота Ландовская и др. Известные имена, стильные костюмы Дороты Колодынской, музыка Збигнева Прейснера, грустные песни под гитару и даже живой голубь, порхающий под потолком во время спектакля... И все же чего-то не хватало. Может быть, того ледяного ужаса, который был когда-то в фильме Глеба Панфилова.

В семнадцатый раз, теперь во время торжественной церемонии в Большом театре, были вручены «Паспорта “Политики”» — важные культурные премии для молодых деятелей культуры. Вот список лауреатов.

Кино: Борис Ланкош ex aequo с Ксаверием Жулавским. Борис Ланкош — за «Реверс», лучший дебют не только последнего года. Ксаверий Жулавский — за фильм «Польско-русская война», авторскую экранизацию и индивидуальное, но вместе с тем близкое оригиналу прочтение прозаического первоисточника Дороты Масловской.

Театр: Сандра Коженяк — за роль Мэрилин Монро в спектакле варшавского Драматического театра «Персона. Триптих / Мэрилин» (режиссер Кристиан Люпа).

Литература: Петр Пазинский — за роман «Пансион», дебют, который показывает, насколько сильно и интересно звучит голос третьего поколения после Катастрофы.

Визуальные искусства: Кароль Радзишевский — за смелость и новаторство показа искусства на выставке «Помочиться в торт» в варшавской «Захенте».

Академическая музыка: Барбара Высоцкая — за постановку «Падения дома Эшеров» Филиппа Гласса в Национальной опере.

Популярная музыка: L.U.C. — Лукаш Ростковский — за альбом «39/89 Понять Польшу».

Специальную премию «Создателю культуры» получил Павел Альтхамер за неустанное стремление доказать, что искусство может действовать всегда и везде. В последнее время он включил в художественную деятельность жителей одного из кварталов варшавского района Брудно. Они составили большинство среди «космитов», которые в прошлом году, одетые в специальные золотые комбинезоны, путешествовали с Альтхамером в покрашенном золотом самолете по свету («Общее дело»). Десант золотых «космитов» появился и на

церемонии в Большом театре, а главный редактор «Политики» Ежи Бачинский предстал по этому случаю в золотом фраке.

Награжденный «Пансион» Петра Пазинского (издательство «Ниша») можно порекомендовать вниманию российских издателей. Автор, родившийся в 1973 г., философ и главный редактор ежемесячника «Мидраш», ранее написал монографию об «Улиссе» Джеймса Джойса и «личный путеводитель» «Дублин с Улиссом». «Пансион» собрал восторженные рецензии. Критики отмечали, что это выдающийся, во всех отношениях достойный внимания, наиболее зрелый дебют 2009 г., первый в Польше литературный голос третьего поколения после Катастрофы. «Я читал эту прозу с возрастающим изумлением перед автором», — признался писатель Павел Хуэлле.

«Пазинский вернул мне надежду, что наше поколение не утратило до конца память. Или иначе сказать: что наша память не превратилась в стопку истертых клише, — написал Петр Кофта. — “Пансион” — это прекрасный, лиричный, одновременно ироничный и горький роман о закате людских дней, о поиске себя, о мире, который безвозвратно исчез, и, наконец, об одиночестве человека, мир которого с корнями вырван из его прошлого. Проза европейского класса, напоминающая находки В.Г.Себальда». Подобного же мнения другой критик, Марек Залеский: «Пазинский вышел тропкой вдоль Вислы к своим истокам — к еврейскому пансиону в Щрудбове, куда ездил ребенком со своей бабушкой. “Пансион” — это прекрасно написанная книга — спиритический сеанс, которая подтверждает проверенную истину, что общаться с духами не менее интересно, чем с живыми людьми».

Два издательства, «Беллона» и «Волюмен», серией «Канон подпольной литературы» хотят напомнить о наиболее важных польских неподцензурных произведениях. В серии 23 названия. Уже издано четыре книги: «Польские разговоры летом 1983 года» Ярослава Марека Рымкевича, «Мощь крушится» Януша Гловацкого, «Счет наших слабостей» Анджея Киёвского и «Военный билет» Антония Павляка. Уже анонсированы книги Марека Новаковского, Казимежа Орлоя, Яцека Бохенского, братьев Казимежа и Мариана Брандысов, а также Януша Шпотанского и Яцека Тшнаделя.

— Цель нашего проекта — показать большой вклад подпольной издательской деятельности в польскую культуру, — говорят издатели, — и донести до сознания современного поколения картину так называемой неподцензурной печати 1976–1989 гг.

как пространство, в котором действовали лучшие из лучших писатели, поэты, журналисты. Состав серии подобран так, чтобы эта картина была картиной свободной общности поисков и споров, свободной интеллектуально и многообразной эстетически, содержащей и представляющей все или почти все главные литературные жанры, с тем чтобы показать огромные духовные богатства неофициального бытия той эпохи.

Замысел замечательный, но не вполне удавшийся. Несмотря на старания издателей, «Канон» неполон, в нем есть вопиющие пробелы. Явно недостает таких подпольных бестселлеров, как «Польский комплекс» и «Малый апокалипсис» Тадеуша Конвицкого, «Репорт из осажденного города» Збигнева Херберта, «Худшие книги» Станислава Баранчака, «Рассуждение о гражданской войне» Павла Ясеницы или «Из истории чести в Польше» Адама Михника. Авторы или их наследники не дали согласия на участия в этой издательской инициативе. Почему? Можно только предполагать: политически не всем со всеми сегодня по пути.

Биография Рышарда Капустинского разжигает эмоции уже сейчас, за два месяца до выхода книги. «Капустинский pop-fiction» Артура Домославского выйдет в марте в издательстве «Свят ксёнжки» («Мир книги»). Ранее издание биографии выдающегося репортера анонсировал краковский «Знак», который, однако, не принял завершенного текста. В газете «Жечпосполита» Бартош Мажец пишет: «В “Знаке” никто не хочет комментировать этот факт. Мы неофициально узнали, что, по мнению издательства, книга целит в автора “Шахиншаха”. Домославский не согласился вносить изменения и сделать существенные купюры в тексте».

Известно, что биография вызвала протесты семьи Капустинского. Поэтому издательство «Свят ксёнжки» позаботилось о том, чтобы с текстом сначала познакомились опытные юристы. В чем суть спора, скоро узнаем, а сейчас дадим слово писателю Анджею Стасюку, который, один из немногих, уже познакомился с книгой Домославского:

— Артур хотел показать живого человека, которым интересовался значительную часть своей жизни. Он был с ним рядом, дружил с ним, а сейчас старается добраться до истины, и его не заботит, что кто-то хочет получить очередного польского святого. Да, Домославский пишет также о личных делах, о слабости к женщинам или о полных любви, но трудных отношениях с дочерью. Однако он делает это деликатно и тактично. Мне кажется, эта книга непросто далась Артуру. По ее прочтении Капустинский стал для меня еще более

значительной и интересной фигурой. Домославский описывает человека, которого захлестнула история и коммунизм. Военного корреспондента, который, по одному из свидетельств, во время войны в Южной Америке мог забыть свою роль и взяться за оружие. Это портрет знаменитого писателя, который осуществил революцию в репортаже, но до конца дней терзался комплексами, считая, что стал писателем случайно, и болезненно переносил критику. Короче говоря: Артур приблизил ко мне Капустинского, очеловечил его, — признается Стасюк.

Биография должна появиться 4 марта, в день рождения Рышарда Капустинского.

В «Выдавництве литерацком» вышел первый том мемориального критического издания собрания сочинений Густава Герлинга-Грудзинского. Книга объемом в 760 страниц, открывающая 14-томное собрание, содержит рецензии, очерки и литературные обзоры 1935-1946 годов. Все издание планируется завершить в 2019 г., к столетию автора «Другого мира». Редактор собрания сочинений — профессор Влодзимеж Болецкий, близкий друг писателя.

В середине января на экраны вышел фильм Яцека Борцуха «Всё, что я люблю». Оставшийся без награды на фестивале в Гдыне (получил только приз «Золотой клакер» за картину, которой дольше всего аплодировали), но отобранный для конкурсного показа на самом авторитетном в мире фестивале независимого кино в Сандансе (штат Юта, США), фильм знаменует смену поколений в польском кино. «Это соблазнительная, классно снятая история подростков, которые взрослеют во время военного положения, — пишет Павел Т. Фелис в “Газете wyborчей”». — На фестивале в Гдыне картину упрекали, что “маловато военного положения”, что “не хватает наемников, избивающих оппозицию” и нет глубоких рассуждений о том, что случилось с “Солидарностью”. Но Борцух не стремится расквитаться с историей, он воссоздает мировоззрение семнадцатилетнего панка из маленького городка, подростка, взрослеющего в этом “доме зла”».

Вспомним, что, оценивая фестиваль в Гдыне на страницах ежемесячника «Кино» (2009, №11/), Божена Яницкая писала о фильме Яцека Борцуха: «Это был словно глоток чистого воздуха. Взрослые в этом фильме — в большинстве люди приличные и неглупые, а молодые — каких могли воспитать такие родители. Это просто часть мира, в котором нормально, то есть скорее чисто, чем грязно. Какой-то мир, но также и какое-то время — мифическое Великое время “Солидарности”».

В этих аплодисментах была ностальгия по тому и по другому. Но пока молодые люди после такого фильма самозабвенного аплодируют — возможно, всё не так плохо, как мы обычно говорим».

Подземная река Лудка в Лодзи и Старая площадь в Пётркуве-Трибунальском, а также Берлин и Лейпциг будут сценой нового фильма Агнешки Холланд «Скрытые». Это рассказ о еврейских беглецах из львовского гетто и об их спасителе Леопольде Соше — мелком жулике, который прятал евреев в канализационных коллекторах. Соша играет Роберт Венцкевич. «Скрытые» — это совместный польско-немецко-канадский проект.

Наверное, никто уже не надеялся на happy end, и уж никак не дирекция познанского Национального музея. Через девять лет полиция нашла украденную из музея картину Клода Моне «Пляж в Пурвиле» 1882 года. Это единственное в польских собраниях произведение французского импрессиониста исчезло из познанского музея в сентябре 2000 года. Преступник вырезал полотно из рамы и вставил плохую копию. Никакая сигнализация не сработала, никто в первый момент не заметил подмены. Вором оказался 41-летний житель Олькуша, строительный техник, который украл картину не для того, чтобы продать заграничному коллекционеру, а чтобы наслаждаться ею в одиночестве. Полотно с приморским видом он держал в шкафу. А попался, так как не платил алиментов и его отпечатки пальцев попали в полицейскую картотеку, а эти отпечатки девять лет назад остались на раме картины в музее. Картина Моне оценивается не меньше чем в миллион долларов.

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Одна из наиболее интересных книг, посвященных тому, что происходит в новейшей польской литературе, — сборник эссе Пшемислава Чаплинского «Польша на обмен». А одна из главных проблем, в нем поднятых, — то, что можно назвать открытием Другого, и это открытие изменяет (или, возможно, лишь должно изменить) наше отношение к себе самим. Об этом же несколько раньше писал Рышард Капустинский в книге «Этот Другой»:

«Как бы то ни было, а мир, в который мы вступаем, — это Планета Больших Шансов, но не безусловных, а открывающихся перед теми, кто всерьез относится к своим задачам, то есть и к себе относится серьезно. Это мир, который потенциально много дает — но и многого требует, мир, в котором поиски легкого пути напрямик часто становятся дорогой в никуда. Мы будем всё время встречать нового Другого, который постепенно начнет выделяться из хаоса и путаницы современности. (...) Кем будет этот Другой? Какой будет наша встреча?»

Для нашего времени это, безусловно, один из ключевых вопросов. Обращаясь к нему, Чаплинский пишет:

«Вызовом для братства в поздней современности уже не станет человек, похожий на нас, человек, принадлежащей цельной массе, но кто-то, нам не тождественный; вызовом свободе — не только тот, кто ее лишен, но и тот, кто не может свободой пользоваться. Поэтому именно равенство представляется критической точкой в «большом» современном нарративе, а чудак — особенно полным в польской культуре воплощением истины о неравенстве. И одновременно этот чудак, которого, при всей его грязной телесности, половой извращенности, мутном происхождении и принадлежности к истории, каждый из нас носит в себе, становится, сколь ни парадоксально, союзником в построении других связей. Мы знаем, что невозможно, и не знаем, что возможно. Пора менять нарратив».

Подобные диагнозы ставятся всё чаще, и все выразительнее ощущается потребность преодолеть границы прежнего

понимания мира, определить новые перспективы. Об этом говорит Яцек Гуторов, один из самых значительных критиков и поэтов поколения, родившегося в начале 1970-х, в беседе с Иоанной Орской на страницах вроцлавского ежемесячника «Одра» (2009, №11/). Вспоминая новаторские идеи Станислава Бжозовского (1878–1911), Гуторов заявляет:

«Сегодня мне не хватает кого-то такого, как Бжозовский. Кого-то, кто был бы в состоянии создать радикальную, ницшеанскую по духу генеалогию современности. Не критики как критиканства, а критики в кантовском духе, как интеллектуального разбора категорий, с помощью которых мы рассматриваем и описываем литературу. Я думаю о проекте, конечно, не вполне удобном для всех, направленном против нас как поэтов, нас как критиков и нас как читателей. Проекте, который поставил бы под сомнения наш нарратив — и сделал это от имени действительности. Это был бы проект, прежде всего, эмансипирующий и трансгрессивный, состоящий в постоянной переоценке и деконструкции нарративов, дискурсов, речевых стратегий, управляющих нашим восприятием литературы и мира. (...) В одном из эссе Болеслава Мицинского есть фраза, которую я часто повторяю: “Надо сломать этот пейзаж”. Поэзия, а следом и критика, должна быть сопротивлением, должна производить сопротивление, как пчела производит мед. При этом речь идет не об эстетических вопросах. Хорошее стихотворение должно меня потрясти или, во всяком случае, открыть предо мной некое новое измерение меня самого. Должно дать что-то, чего у меня нет. Вся это болтовня о традиции (с одной стороны) и переломах (с другой) создала виртуальную действительность, мало что имеющую общего со здоровым пониманием поэтического текста. И здесь нужна уже упорная, последовательная, кропотливая работа, усилие открытия, ломки существующих структур, эмансипация того, что вытеснено и подавлено. Бжозовский осознавал это. И поэтому он нам очень пригодился бы.

Меня не удивляет ренессанс его идей, хотя в какой-то мере разочаровывают попытки реактивации Бжозовского. (...) Здесь надо активизировать все накопления критической мысли последних двадцати лет, хотя бы сделанные под флагом франкфуртской школы или деконструкции. Нельзя позволить себе дешевых, рефлекторных жестов или поспешного синтеза. Не знаю, как такая критика под знаком Бжозовского должна выглядеть сегодня или в будущем, но уверен, что она нужна. Быть может, она будет связана с императивом сопряжения литературы с политикой? Быть может, она должна начать с

определения тех явлений, которые я называю “культурной политикой” и которые происходят на стыке литературной жизни, средовых и медийных систем и мощных, хотя часто скрытых, идеологических дискурсов? (...)

Думаю, хотим мы того или нет, литература несет на себе печать политики и идеологии. Даже тогда — а может, прежде всего, — когда от них отрешивается. Меня больше всего интересует критика, обогащающая восприятие литературы, позволяющая шагнуть за ее горизонты. Я думаю, что такая деконструкция — это трудный, запутанный процесс, в ходе которого мы не столько отмежевываемся от того, что внелитературно, сколько, наоборот, даем ему проявиться — хотя бы затем, чтобы показать его недостаточность или неадекватность. Я не верю, что на почве литературы мы сможем достичь чего-то большего, чем оправдать ожидания, которые на нее возлагаем. Близкая мне франкфуртская школа начинает с литературы и эстетических вопросов, но сразу же переходит к критике капитализма, культурного производства, культуры как товара и т.д. Эти вопросы нельзя поднять исключительно на основе литературы. Должен возникнуть момент эмансипации, вторжения. Кто-то скажет, что хорошая поэзия уже сама в себе — движение сопротивления. И это верно. (...) В то же время мы должны понимать, что критический подход к стихотворению уже несет в себе нечто политическое, нечто такое, что неизбежно ведет к превращению стихов в товар. Поэтому критика должна также черпать из дискурсов, которые позволяют поместить поэзию в пространство идеологии».

Чтобы хоть что-то в этом отношении сделать, необходимо критически подойти к нашей точке зрения не только на литературу, но и на самих себя. Этому посвящена дискуссия на страницах выходящего раз в два месяца щецинского журнала «Погранича» (2009, № 5/), озаглавленная «Табу в литературоведческих и исторических исследованиях». Указывая на источники табуирования в польской литературе, Рышард Ныч заявляет:

«Мне представляется, что характер польской литературы, его конституирующие, определяющие самобытность черты сформировались в XIX веке. В этом утверждении нет ничего нового — я это подчеркиваю, чтобы сказать: не период нашей нормальности, поликультурности, многоязычия, определенной свободы говорить и писать определили самобытность и характер польской литературы (также и современной), а как раз период романтизма, то есть время, когда и государство, и общество, и литература подвергались

угнетению. Литература польского романтизма в ответ на угнетение принимала на себя обязательства, которые накладывали на нее различные табу: бытовые, политические и религиозные. И отсюда черты, которые сегодня пугают (а некоторым нравятся) в нашей литературе, — они вырастают из того, что литература чрезвычайно табуирована. Мне представляется, что убедительный пример стойкости такого табуирования дают всё чаще издаваемые дневники писателей и интеллектуалов, которые они вели во времена ПНР, — Киёвского, Яструна, Киселевского и многих других. Читая эти дневники (а такой род писательства по своему генезису подразумевает полную свободу, независимость, смелость), видишь, насколько сильно писатель сам себя ограничивает, как за каждым словом (или перед каждым словом) стоит ощущение общности, которая покарает. (...) Мне кажется, что польская культура — это культура прежде всего, то есть такая культура, которая охвачена страхом перед санкциями со стороны общности, порождаемым или невыполнением каких-то заказов, или чувством несоответствия требованиям, невозможностью исполнить какую-то роль. И это ограничивало, если обобщенно сказать, свободу писательского поступка».

Можно, конечно, привести противоположные примеры — хотя бы лишенный этого страха нарратив дневников Витольда Гомбровича. Назовем еще одного автора — умершего в 2001 году поэта, а также прекрасного переводчика и критика, осужденного в ПНР на три года тюрьмы за распространение собственного сочинения «Тихие и гоготуны», где содержалась радикальная критика тогдашнего режима, а позже создавшего замечательную сатирическую поэму «Царица и зеркало», где был описан Брежнев и его политика, поэта, которого взбешенный первый секретарь ПОРП Владислав Гомулка назвал с партийной трибуны «человеком с ментальностью альфонса». Именно на этого автора указывает Рышард Ныч:

«Чтобы привести пример писателя, который (...) воплощает целомудрие независимости, свободы и свободной воли, я хочу вспомнить забытое имя Януша Шпотанского, всё творчество которого, вся деятельность, вся специфика самого письма концентрировались на преодолении этого табуирования, ханжества, конформизма, на утверждении свободомыслия в политической, бытовой и даже религиозной сфере. Наше несчастье, что так немногочисленны подобные личности, что так быстро их забывают. Шпотанский заслуживает памяти по многим причинам, но вот о чем хочется сказать: он учил, что стыдливая мысль не может быть по-настоящему великой. И

это — по-прежнему актуальное послание не только его писательства, но и того примера, который он нам дает своей жизнью».

В чем состоит урок свободы, который можно извлечь из творчества Шпотанского? Прежде всего это умение обнаружить дистанцию по отношению к себе самому и своей среде, способность ясно видеть и давать этому выражение. Об этом вспоминает еще один участник дискуссии, Казимеж Вуйцицкий:

«Спасибо профессору Нычу, что он вызвал дух Шпотанского — в XX веке, пожалуй, наиболее выдающегося польского сатирика, который сумел преодолеть табу (...) дружеского круга. “Тихие и гоготуны” — это поэма, в которой больше всех достается оппозиции — в те времена, когда надо бы ополчиться на «тихих», то есть охранку. Например, иронически и резко критикуется там Ян Стшелецкий (...) хотя он был для многих примером и со Шпотанским они были друзьями. Выдающийся сатирик сумел порвать с таким типом мышления, что, мол, мы “хорошие друзья” и поэтому кое о чем не станем говорить».

Для Шпотанского, конечно, не существовало ничего, «о чем не говорят» — не говорят не только по причинам дружбы, но и по политическим или идейным.

Когда я читаю такого рода суждения, мне кажется (и это, в общем-то, подтверждается и собственным опытом), что проблема не столько в высказывании о себе, сколько в том, что в польской культуре — не во всей, наверное, но во многих ее сферах — нарастает ощущение кризиса собственного идентификационного дискурса. Перефразируя Чаплинского, я бы сказал, что дальше мы уже не можем говорить о себе, как раньше, или уже не сумеем даже, но не слишком знаем и как должны говорить. О трудностях постановки голоса литературы интересно рассуждает Петр Сливинский в статье, озаглавленной «Литература должна быть противником своего времени», на страницах «Одры» (№ 10/2009). Сливинский комментирует поиски, предпринятые в прозаических книгах Цезария Михальского, чья повесть-дебют «Сила отталкивания» вызвала несколько лет назад оживленную дискуссию:

«Цезарий Михальский хотел избежать охватившей писателей политико-публицистической страсти. Он избрал эссеистику и вслед за Станиславом Бжозовским, который для него кажется важным примером, стремился связать общую перспективу, особенно историческую, с экзистенциальной... “Огни” Бжозовского — для него столь притягательная книга, что

вопрос об истории и справедливости тесно связывается с идеей-фикс времени, опыта, смерти, с убеждением, что мы пишем (кровью) свою жизнь, будучи одновременно ее, жизни, читателями и критиками. Мне кажется интересным то, чего хочет достичь Михальский, хотя воплощение его замыслов еще в нескором будущем. Иначе говоря, литература должна быть противником своего времени, но каким-то более сложным образом... А самое сложное — это быть литературой. В качестве приложения к газетной критике у литературы нет шансов, особенно когда стало понятно, что и у газет нет особых шансов в конфронтации с интернетом. (...) Когда я вспоминаю, что в Польше читается ежегодно полкниги [на душу населения], в Чехии — три, а в Голландии — целых 16, то думаю, что мы едва ли “нормальное” либерально-демократическое общество. (...) В такой стране нет места литературе тенденциозной, потому что кто-то должен был бы ее читать, но есть место большой политической литературе, ангажированности, выходящей за пределы злободневной публицистики (за пределы узости), проявлениям невероятной смелости (...) а также — поэзии, жизнь которой поддерживает некая элита, очень нужная, есть место и работе в пользу чтения. Так сказать, позитивизм в пользу романтизма».

Стоило бы, я думаю, в этом контексте напомнить, как отозвался о Бжозовском Юзеф Чапский, один из создателей парижской «Культуры», выдающийся художник и эссеист, один из тех, чье тайное влияние на польскую интеллектуальную жизнь трудно переоценить:

«Открытие Бжозовского свершилось для меня в 1919 году, в Кракове, после моей “инкубации” Россией. Еще на школьной скамье в Петербурге русская литература, русская действительность были моими первыми интеллектуальными впечатлениями, которые меня определили. В Бжозовском с первых минут я открыл ту же температуру мысли. Он многократно писал, скольким обязан России; считал, что общественная русская мысль шире и даже понимание Запада глубже, чем в Польше. (Мицкевич писал то же самое о николаевской России в письмах Одынцу)».

И далее: «“Записки” Бжозовского — это книга, которая останется в польской литературе. (...) Яркими мазками он высвечивает целые пласты проблем и мыслей, там нет страницы, которая не вынуждала бы задуматься и над счетом собственной совести. Он пишет о литературе, противопоставляя ее чистой политике, о литературе, считающейся роскошью, как об “одной из важнейших дорог,

ведущих к освобождению от брутальных глупостей и растлевающих предубеждений политики”. И мечтает о том, что, будь у него еще время, он изменил бы “характер польской литературы на целые поколения” и был бы счастлив».

Через год этим мечтаниям исполнится уже сто лет, но по-прежнему, как доказывают ведущиеся сейчас дискуссии, этот обозначенный Бжозовским горизонт польской литературы не удалось переступить. Отсюда, как мне кажется, и императив: «Пора менять нарратив».

МЫ УЧИЛИСЬ СОЦИОЛОГИИ В ПОЛЬШЕ

— *В каком году вы стали следить за событиями в Польше?*

— Польша нам стала интересна, когда мы занялись социологией, — с 1963-1964 года.

Первая социологическая лаборатория была создана в Ленинградском университете на философском факультете. И там мы начали осваивать азы эмпирических исследований. Из стран, куда можно было выехать, Польша в этом отношении была самой привлекательной.

— *Вы сами искали контакты с поляками или так складывалось?*

— И так, и сяк. Мы — я и Вера Водзинская [Вера Васильевна Водзинская, социолог] — сразу поехали к ним учиться. Приехали на целый месяц.

Первый раз — чуть ли не 40 лет назад.

— *А как вы узнали, что именно в Польше можно учиться?*

— Ну, мы знали по литературе, что поляки имеют давнюю социологическую традицию. На разных языках, включая английский, публиковалось довольно много работ поляков. Тот же Новак или Щепанский. «Польский крестьянин в Европе и Америке» Томаса и Знанецкого — это классика.

— *Вы польский учили когда-нибудь специально?*

— Практически польский разговорный я вполне понимал, сейчас лучше, потому что многократно бывал там. Язык близкий.

— *Вы читали польские газеты?*

— Я по-польски читаю плохо, поэтому предпочитаю на английском. Поляки выпускают социологический ежегодник на английском, где публикуют наиболее важные статьи. Кроме того они посылали мне свои публикации на английском. А польские книги — о чем книга, понимаю, специальная терминология понятна. Есть, конечно, некоторые различия. Например, термин «probka», т.е. «выборка», мы освоили в

общении с Ханой Павельчинской, и от нее же узнали, что блок вопросов о социально-демографических данных респондента на польском звучит лучше, чем по-русски, — «метричка», а наше «паспортичка» — язык бюрократа.

— Если по годам судить, то в какой период было наиболее сильное влияние польской социологии на наших социологов?

— Начальный период — 1960-е годы, потому что у нас тогда из литературы по методологии исследований почти ничего не было. Имелись работы русских социологов вроде Ковалевского, Елены Кабо и других, но — читать было нечего. Наши социологи многое заимствовали у западно-европейских авторов; Питирим Сорокин был абсолютно оригинален, так его Ленин выслал на «философском корабле» вместе с Бердяевым и другими выдающимися мыслителями. Между прочим, Сорокин в 1931 г. основал социологический факультет в Гарвардском университете и возглавлял его до 1942 года. Он был избран президентом Американской социологической ассоциации. Подшучивали над ним, посмеивались, потому что Питирим создал теорию (теорию цивилизационных циклов), согласно которой общество проходит повторяющиеся стадии — доминанта рационального, эмоционального, потом снова рационального, а в будущем — гармония. И царство любви. И вот над этим посмеивались. Но когда он оставил пост президента АСА, ему дали исследовательский грант, он нашел какую-то коммуну квакеров, где нашел подтверждение своей идеи: там царствовала любовь. После революции в России, в период гражданской войны, он писал о голоде, насилии и т.д. Собственно, за это и выслан был, не за то, что сочинил первый социологический учебник, изданный Петербургским университетом... Питирим Сорокин очень хотел приехать в Ленинград. Мой коллега Андрей Здравомыслов написал ему, что мы создали социологическую лабораторию, и он ответил поздравлением, отправил книжную посылку. Ни одной книги мы не получили, все были изъяты в «спецхран».

— Каким было значение польской социологии для советской социологии?

— Очень большое. К тому же много книг было переведено с польского на русский. Просто потому, что Польша была в составе СЭВ, все-таки соцлагерь. Книга Щепанского «Основные понятия социологии» в то время служила настольным учебным пособием, сейчас она уже устарела, конечно.

— Щепанского вы сначала на польском читали? Или как это было?

— Нет, Щепанский на русском вышел.

— *Кто его переводил?*

— Книга вышла в издательстве «Прогресс» в 1969 году. Перевод с польского М.М.Гуренко, а научный редактор и предисловие академика А.М.Румянцева. Румянцев был организатором первого академического института социологии, назывался он Институтом конкретных социальных исследований. Именно он собрал в ИКСИ тогдашних пионеров возрождения социологии в стране, шестидесятников. Б.Грушин, И.Кон, Н.Лапин, Ю.Левада и другие создавали там атмосферу творческого энтузиазма. С приходом Н.Руткевича, которому Борис Грушин приклеил прозвище «Бульдозер», все эти люди либо были изгнаны, либо ушли сами.

— *А вот из нынешних один единственный в России сегодняшний иностранный почетный член Академии наук по социологии — это Петр Штомпка.*

— Это ошибка. Единственный почетный член РАН — Гидденс. Штомпка отказался от избрания почетным членом. Но тогда, видимо, шла переписка с ним.

Перевод книги П.Штомпки «Социология социальных изменений» (М.: Аспект-Пресс, 1996) редактировал (с английского) я. Штомпку я считаю не только одним из крупных социологов, но одним из тех, кто является лидером деятельностно-активистского направления в социологической теории. Свою теорию он называет теорией Social Becoming. Он сам затрудняется это выражение на русский перевести, хотя русский знает великолепно... «Становление общества». Общество все время становится, все время в развитии, все время в движении. Таким образом, история — это не естественно-исторический процесс, как считал Маркс, а социально-исторический процесс, люди делают общество. Вот так случилось, что именно в России была социалистическая революция. Из теории Маркса следовало, что революция возможна в наиболее развитой капиталистической стране. Ленин счел, что она возможна в наиболее слабом звене капиталистической системы, и большевики совершили октябрьский переворот, революцию. Но, согласно активистскому подходу Штомпки и других приверженцев этой парадигмы (Э.Гидденса, А.Турена, например), не только организованные массы изменяют социальные институты, социальные структуры. Обычные люди, если они обладают достаточными ресурсами (энергичны, влиятельны и т.д.), своей повседневной деятельностью способны производить

социальные изменения, устанавливать новые правила социальных отношений.

В Польше есть настоящее гражданское общество. Оно было и в советское время, сегодня — тем более. В ПНР существовали различные «сполечности» — сообщества, товарищества. Приезжая в Варшаву, я наблюдаю свидетельства гражданского общества в повседневности. Студенты приветствуют друг друга «Честь, коллега!». Во-первых, «коллега», значит, из одной корпорации и, во-вторых, «Честь» — это не просто «привет», а именно уважение достоинства другого. В 1960-е на нас сильное впечатление производила вольница в среде студентов, которая в Советском Союзе была немыслима. В то время в Варшаве была масса любительских театров, маленьких театриков, они помещались в небольших подвальчиках...

— О польском опыте. Вы уже начали говорить про гражданское общество. Чем он ценен для нас? Что мы можем оттуда взять?

— Взять ниоткуда мы ничего, в общем, не можем. Потому что всё, что ни берется, всё превращается во что-то другое — кентавр получается. Ну, парламент, допустим. У нас что, парламент? Трудно сказать. У нас что, председатель Думы — спикер? Он похож на председателя Верховного Совета, скорее управляет думцами, чем контролирует регламент. Штомпка, между прочим, предложил в ситуации заимствования инокультурных образцов уточнить, в чем состоит культурный лаг. Он отметил, что лаг первоначально обнаруживается в заимствовании терминов, понятий, содержание которых поначалу наполняется смыслом, не соответствующим оригиналу.

— А поучиться чему мы можем или опять же ничему не научимся?

— Учиться можно. Пушкин, который установил нормы современного русского языка и владел им несопоставимо лучше, чем мы с вами, сказал о Петре I, что тот «прорубил окно» в Европу. Не дверь открыл, но окно, чтобы учиться и оставаться самими собой. Глубокий смысл в этом. Он прекрасно понимал, что Россия не станет Германией и Иван Гансом тоже не станет.

— Тогда в какой степени можно вообще говорить о влиянии?

— Надо пробовать. В науке, в отличие от политики, заимствование идей и практик — нормальный процесс. В реформировании общества — иногда получается, чаще — нет. Мы провели совместно с канадскими социологами

сравнительное исследование трудовых отношений на промышленных предприятиях («Становление трудовых отношений в постсоветской России» / Под ред. Дж. ДеБарделебен, С.Г.Климовой, В.А.Ядова. М.: Академический проект, 2004). И в Канаде, и в России существуют жесткие правила взаимоотношений руководитель — подчиненный. Но там работники следуют установленным правилам, у нас — далеко не всегда. Предпочитают договариваться к взаимному интересу. Рабочего, неоднократно приходящего на работу пьяным, мастер обязан уволить. Но он, как правило, договаривается с пьяницей: сегодня ступай домой, отработаешь завтра в ночную смену и без положенной доплаты.

— *Солидарность, идею солидарности неплохо бы у нас как-то применить...*

— Если говорить о солидарности как таковой, не о движении, которое зародилось в Гданьске, то какая у нас солидарность? Наше общество настолько разобщено, дезинтегрировано, колоссально дезинтегрировано, одни — «свои», другие — не просто «не свои», но чужие и даже враждебные. Одно из наших исследований — мониторинг сдвигов социальных идентичностей, кого люди могут назвать «Это мы» и кто такие «не мы». Так вот, когда мы используем факторный анализ, т.е. выявляем пучки близких корреляций ответов на этот вопрос, мы находим, что в одном кластере как «не мы» — чиновники, милиция, бандиты, пьяницы. Представляете? Вот кто такие «не мы». Мы — хорошие. Но, правда, мы пьяниц и чиновников специально не опрашивали.

— *Польских социологов вы всех назвали значительных?*

— Ян Щепанский, Стефан Новак, Иоланта Кульпинская, Зигмунт Бауман, Ежи Вятр, Ян Жигульский, Влодзимеж Веселовский, специалисты в социологии труда, с которыми мы дружно работали в совместных проектах стран СЭВ, публиковали общие статьи — Адам Сарапата, Казимеж Доктур... Очень многие. Польская социология — это мировая социология, одними из первых крупнейших социологов были поляки. И до сего дня это мировая социология. Дважды поляк был президентом Международной ассоциации. Я был два срока вице-президентом, но потому, что представлял советских и позже — российских социологов, а Ян Щепанский и Петр Штомпка представляли польскую социологию.

Надо сказать, что польская социология в целом настолько заметна, что когда был создан лет десять назад в Будапеште Европейский международный университет Сороса, то его

базовые факультеты и кафедры были определены в тех странах, где наиболее сильна данная дисциплина. Так вот именно в Польше находится факультет социологии и политических наук Европейского университета. Я там часто бываю с лекциями и для встречи с коллегами. Немало российских студентов готовят свои диссертации в Варшаве.

Одним из первых моих знакомых поляков стал Зигмунт Бауман — великий человек. В первый мой приезд в 1960-х Бауман дал мне хороший урок. Только что вышла моя книга, она называлась «Идеология как форма духовной деятельности общества» [Л.: ЛГУ, 1961. 122 с.], и я очень гордился, потому что там был не только Маркс и Ленин, но и Плеханов. Плеханов спорил с Лениным и утверждал, что идеология — это рационализированная массовая психология. А что она в России представляет? — идею справедливости, а не коммунизма, которую надо вносить в массы. В общем, я гордился. И, конечно, я использовал многих западных авторов: К. Маннгейма, М. Шелера, обсуждал теорию стереотипизации Липпмана. Бауман взял книгу, прочитал и говорит: «Ты же это не читал и этого не знаешь. А здесь ты исказил...» Короче, мы с ним очень подружились на этой почве. И до сих пор он иногда посылает мне советы, что следует прочитать. Когда я послал ему нашу статью по итогам сопоставления социальных идентичностей поляков и россиян, он ответил теплым письмом, где сказал, что лучшего подарка к своему дню рождения не получил. А дальше язвительно: «Но зачем вы теоретизируете? Забыл, что сказал Маяковский? — Не пишите больших полотен во время революции, всё полотно изорвут». Бауман — один из лидеров постмодернизма в социологии. Все его последние книги изданы на русском, он бывает в Москве, выступал на наших семинарах в институте.

Другой выдающийся социолог, с которым я знаком, это Щепанский. Во время войны он был отправлен на принудительные работы шахтером. Помню забавный случай. Был конгресс в Варне (как раз там Бауман за столом доверительно сообщил нам — Грушину, Леваде, Шубкину и мне, — что эмигрирует в Англию). Мы приехали за день до начала конгресса, и Грушин предложил отправиться ловить мидии. Ловить — не то слово, они липнут на камнях. Мы руки все исцарапали, ноги исцарапали. Мидий наскребли и готовим костер, чтобы сварить. Поверху прогуливается Щепанский, кричим: «Ян, иди сюда! Мы мидии варим». Он встал в позу и произнес: «Польский крестьянин не интересуется такой штукой, как мидии». Он намекнул нам, что приехал не ради мидий (знаменитая работа «Польский крестьянин в Европе и

Америке»), и вместе с тем на свое досоциологическое прошлое, так как, правда, он действительно из крестьян. Так вот, Щепанский был близок к Гереку, входил в кабинет, что называется, без звонка. Понятно, что он был членом ПОРП, хотя, конечно, он был за «социализм с человеческим лицом», как пытались сделать в Чехословакии, где революцию подавили советские и немецкие танки. Они же хотели нормальный социализм, ничего более. Щепанский однажды мне рассказывает: «Я ходил к Гереку, я ему говорил, что не надо делать, что надо делать. Я ему оставлял записки. Всё впустую! Я перестал ходить к Гереку».

Иоланта Кульпинская перевела нашу книгу «Человек и его работа», изданную на русском в 1975 г., и считала ее для поляков приличной книгой. Поляки плохие книги не переводили, и мы это ценили. Кульпинская работает в Лодзинском университете. Польша — небольшая страна, поэтому ездят туда-сюда. Она два часа в Варшаве читает лекцию, потом у себя в Лодзи ведет занятия. Иоланта Кульпинская отличалась тем, что решительно всё выругивала. Ну, всё решительно — такой склад ума. Считала, что ни черта у нас никогда не получится. И валила всё в основном на характер славян: мы славяне, мы такие...

Не могу не сказать об Анне Павельчинской. Как еврейку ее отправили в лагерь смерти. Она была прикована к стулу, ноги были перебиты, но работала много. Друзья привезли меня к ней на встречу. Помню отчетливо: Анна, сидя в каталке, предлагает напитки. Прием как прием. Я спрашиваю о лагере: «Вы как социолог обязаны написать об этом». Говорит, что книга уже в издательстве. Она считала, что в лагере люди теряли человеческое лицо. Есть фильмы и рассказы о том, что были и герои. Нет, она вновь подчеркивала, что все были разделены, теряли человеческое лицо.

Один из видных польских социологов — это Влодзимеж Веселовский, очень активный член Международной ассоциации, он был в исполкоме МСА. Мы подружались. Он как-то по-русски дружен — приглашает домой. Поляки не обязательно приглашают в дом — в ресторанчик обычно. А тут так, чисто по-русски.

Был случай, когда я убедился в том, что близость славянских языков, где некоторые слова имеют совершенно разный смысл, может оказаться серьезным препятствием для слаженной и крайне ответственной работы. По заданию министерства атомной промышленности мы изучали, в какой мере особенности национальной культуры сказываются на

сотрудничестве советских инженеров с венгерскими, финскими и болгарскими специалистами атомных электростанций. И, представьте себе, несходство между русскими и венграми или финнами в культуре трудовых взаимоотношений было меньшим барьером в сравнении с тем, что мы наблюдали в Болгарии. Венгерские специалисты не понимали, почему советские партнеры предлагают задержаться на работе и проверить, нормально ли товарищи из другого подразделения что-то там рассчитали. Венгерский специалист не сомневался в их добросовестности, советский не был в этом уверен. В Болгарии же главная заковыка состояла в том, что многие специальные термины звучат одинаково, но имеют разные смыслы. В управлении атомным реактором это может привести к катастрофе. Все индикаторы на станциях трех стран обозначались двуязычными надписями, но во время дежурства приходилось предельно напрягаться, чтобы не допустить ошибки в понимании команд и распоряжений.

Среди социологов у меня масса близких товарищей. Ясинская-Каня, к примеру, с которой непременно общаемся, если бываю в Варшаве. Всех назвать было бы трудно.

Мне повезло познакомиться с Ханной Хмелевской, которая в 1980-е годы была видной журналисткой левого журнала «Поглѣнды». Она приезжала в Москву, мы с ней много-много говорили. Конечно, говорили в духе того, что потом движение «Солидарность» реализовало практически. Ханку Хмелевскую я навещал в Польше несколько раз, но последняя наша встреча была за завтраком в моей гостинице, полчаса. «Солидарность» пришла к власти, Хана бежала интервьюировать кого-то.

В заключение — о нашей нынешней работе с польскими коллегами. Здесь есть предыстория сотрудничества. Я многим обязан Стефану Новаку [(1925-1989), польский социолог, профессор Варшавского университета]. Он был подлинный диссидент, в открытую. Изучал настроения в среде студентов, был любимцем студентов. В частности, Новак показал, что взгляды студентов на социализм отличаются от официоза. Мы его много раз приглашали в Ленинград, и он очень хотел приехать в Советский Союз, но ни разу его не выпустили из страны. Новак был выдающимся методологом. Можно сказать, что Стефан был моим учителем в методологии исследования. Занимался со мной как со студентом у себя дома, объяснял, как и когда использовать факторный или кластерный анализ, другие методы. В классику социологической литературы он вошел как автор методологии перевода концептуальных определений на операциональные («триада Новака»). Мы

подолгу разбирали техники фиксирования ценностных ориентаций (его «конек» в то время), в чем я вполне ориентировался, но понял, что в сравнении со Стефаном — профан.

Наследником Новака по кафедре социологии и методологии Варшавского университета стал бывший его аспирант Кшиштоф Косела. И так случилось, что мы начали сотрудничать в общем проекте, который, кстати, поддержал Бауман. Это был проект ЕС — сравнение социальных идентификаций поляков и русских. (В России книга по итогам исследования с участием польских авторов была опубликована под названием «Россияне и поляки на рубеже веков. Опыт сравнительного исследования социальных идентификаций (1998–2002 гг.)» / СПб.: Издательство РХГА, 2006.

Каким образом мы начали работать вместе? Помог Штомпка. В Кракове Петр Штомпка организовал международный симпозиум по проблемам посткоммунистических преобразований. Я представил некоторые результаты двух волн наших массовых опросов и говорил об идентификационных сдвигах россиян. В кулуарах попросил Штомпку рекомендовать польского коллегу, заинтересованного проблемой. Он назвал Коселу. Первое, что мне бросилось в глаза в кабинете Кшиштофа, — кресло Стефана Новака и над креслом — портрет учителя. К сожалению, Новак не дожил до победы «Солидарности». Его воспитанники активно поддерживали движение.

В исследовании социальных идентификаций, о котором я упомянул, мы использовали свою и предложенную коллегами методики (с польской стороны кроме Коселы в проекте участвовали Кристина-Эва Селлява-Кольбовская, Мирослава Грабовская, Тадеуш Шавель). Польская оказалась интереснее в каком-то смысле. Респондент должен был ранжировать сорок карточек с наименованиями разных общностей, спрашивалось какие группы людей или общности ему ближе, какие далеки или не относятся к нему вовсе. И что вышло? Поляки, почти 85%, на два первых места ставили карточки: «мы — поляки», «мы — католики» и где-то дальше карточки по близости с семьей, друзьями и т.д. А у нас на первых местах — семья и друзья, а карточка «я — гражданин России» — далеко к низу ранжированного порядка.

Когда мы разрабатывали методику, Кшиштоф мне говорит: «Владимир, у вас должна быть национальная идея. У вас очень много говорят о национальной идее. Давай впишем в строку «идентификация»: «Я — сторонник национальной идеи»». Я

отвечаю: «Мы шиш получим тут — ничего». — «Ну, давай поспорим на бутылку хорошего коньяка». Мы этот коньяк выиграли, потому что национальную идею поддержало процентов шесть из представительной выборки по всей нашей стране.

Обсуждаем, почему не только национальной идеи нет, но и гражданская солидарность намного слабее, сравнительно с поляками. Кшиштоф говорит примерно так: «Я, мой дед и мой прадед родились при гимне «Еще Польша не погибла». Ты же родился при «Интернационале», потом «Нас вырастил Сталин», потом «Нас вырастила партия на верность народу», а сегодня российский гимн на ту же мелодию, а слов ты не знаешь». Я говорю: «Конечно, я слов не знаю». — «И какая может быть к черту солидарность?» Я бы сказал сейчас, что в последние годы президентства Владимира Путина гражданскую солидарность власти пытаются формировать путем использования жупела враждебного для «великой державы» окружения — от США до... Эстонии и Грузии. МакЛелланд называл такого рода мотивацию «мотивацией избегания», в отличие от достижительной мотивации (avoidance — achievement motivation). Для достижительной мотивации необходима солидаризирующая мобилизующая общенациональная цель. Ее нет — люди ушли в частную жизнь, равнодушны к политике, всё меньше участвуют в выборах своих представителей в высшем и местных органах власти.

Наш коллега по проекту Томаш Зарицкий (светлая ему память) интерпретировал различия польской и российской национальной идентичности формулой «культурный капитал versus политический». Для россиян остается значимой идентичность, ассоциированная с государством, причем сильным, польская же — вырастает из национальных и культурных традиций.

Один из выводов по итогам проекта: интеллигенция, интеллектуалы пользуются в Польше большой популярностью в народе. В России, к сожалению, этого нет. Причины, видимо, коренятся в исторически устойчивом недоверии властей к инакомыслию «яйцеголовых».

При Ярузельском социолог Адамский стал министром культуры, задрал нос кверху (показывает на себе, как человек «задирает нос») — поляки народ гордый. В нынешней Польше, рассказывал Косела, президент регулярно встречается с учеными-гуманитариями за чашкой чая. Выслушивает и прислушивается к их суждениям о состоянии дел в стране.

Главное направление наших исследований в последние годы — социальные преобразования в посткоммунистических странах. Я знаю, что польские экономисты и социологи советовали правительству не слушать инструкции Всемирного банка, строить экономику, опираясь на свои традиции. Они говорили: если мы вышли из Европы и хотим вернуться в Европу, то следует учитывать, что чехи, венгры, поляки из «разных Европ» вышли. Одни вышли из Европы немецко-австрийского типа, где центральная власть жестко контролировала местные бюджеты (близко к понятию рестрибутивной экономики). Польша — из Европы французского типа, где, наоборот, провинции и местные коммуны достаточно самостоятельны в распоряжении своим бюджетом. Так давайте делать так, как во Франции, чтобы наши регионы были более самостоятельны.

И теперь — самое главное о сегодняшнем российско-польском сотрудничестве в социологии. Мы с паном Кшиштофом инициировали ежегодные студенческие семинары попеременно в Варшаве и в Москве на факультете социологии Государственного академического университета, деканом которого я имею честь быть. В 2007 г. наши студенты представляли свои работы в Варшаве, в следующем году мы принимали польских студентов. Было заключено официальное соглашение между двумя университетами. В университетских бюджетах предусмотрена финансовая поддержка студенческих семинаров. В этом году был поддержан исследовательский проект об исторической памяти поляков и россиян. Мы с профессором Викторией Семеновой (руководителем проекта с российской стороны) и двенадцатью студентами накануне Рождества отправляемся в Варшаву на очередной, теперь уже научный семинар.

Начатое в шестидесятые годы сотрудничество в социологии продолжается и развивается, несмотря на временами напряженность во взаимоотношениях между политическими и экономическими верхами двух стран.

Беседу вела Татьяна Косинова

Записано 16 декабря 2006 года в Москве, дома у В.А.Ядова

Авторизовано 7 ноября 2009

Владимир Александрович Ядов родился 25 апреля 1929 в Ленинграде в семье интеллигентов. Окончил философский факультет Ленинградского университета в 1952, в 1958 защитил кандидатскую диссертацию, в 1968 — докторскую диссертацию по методологии социологических исследований. Ведущий

российский социолог, пионер проводившихся в СССР эмпирических социологических исследований, один из создателей ленинградской социологической школы, автор первого в России учебника по методологии социологического исследования «Стратегия социологического исследования», автор диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности.

В середине 1960-х принимал самое активное участие в создании НИИ комплексных социальных исследований (НИИКСИ) Ленинградского университета. Первое исследование, проведенное социологической лабораторией этого института, касалось бюджетов свободного времени рабочих Кировского завода. В дальнейшем эта тематика получила развитие в крупном проекте «Человек и его работа», который дал решающий толчок формированию оригинальных теоретических концепций. В 1963 его послали на стажировку в Манчестерский университет, позже он стажировался также в Лондонской школе экономики и политических наук.

Параллельно с научной деятельностью читал лекции в разных городах СССР. В 1975 перешел работать в Институт социально-экономических проблем (ИСЭП), где возглавил социологический отдел. В 1984 стал старшим научным сотрудником в Ленинградском филиале Института истории естествознания и техники. В 1988-2000 — директор Института социологии РАН. С 2000 — руководитель Центра исследований социальных трансформаций ИС РАН. Одновременно — декан факультета социологии Государственного академического университета гуманитарных наук.

Занимал руководящие посты в Международной социологической ассоциации, Международном институте социологии, Европейской ассоциации экспериментальной психологии, возглавлял Российское общество социологов, Институт социологического образования Российского центра гуманитарного образования, работал экспертом международных и российских научных фондов, председателем Диссертационного совета, членом Высшего аттестационного комитета РФ.

Основные публикации

Здравомыслов А., Рожин В., Ядов В. Человек и его работа. М.: Мысль, 1967.

Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности. Методологические проблемы социальной

психологии. М., 1975.

Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под ред. В.А.Ядова. Л.: 1979.

Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара: Самарский университет, 1995.

Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. Учебник для вузов / В.А.Ядов в сотрудничестве с В.В.Семеновй. М.: Добросвет, 1998.

Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. Учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2003.

Материалы в Интернете: Социологический журнал.
Специальный выпуск. 1999 // http://2001.isras.ru/Publications/Yadov/JS_Spec_Issu.htm